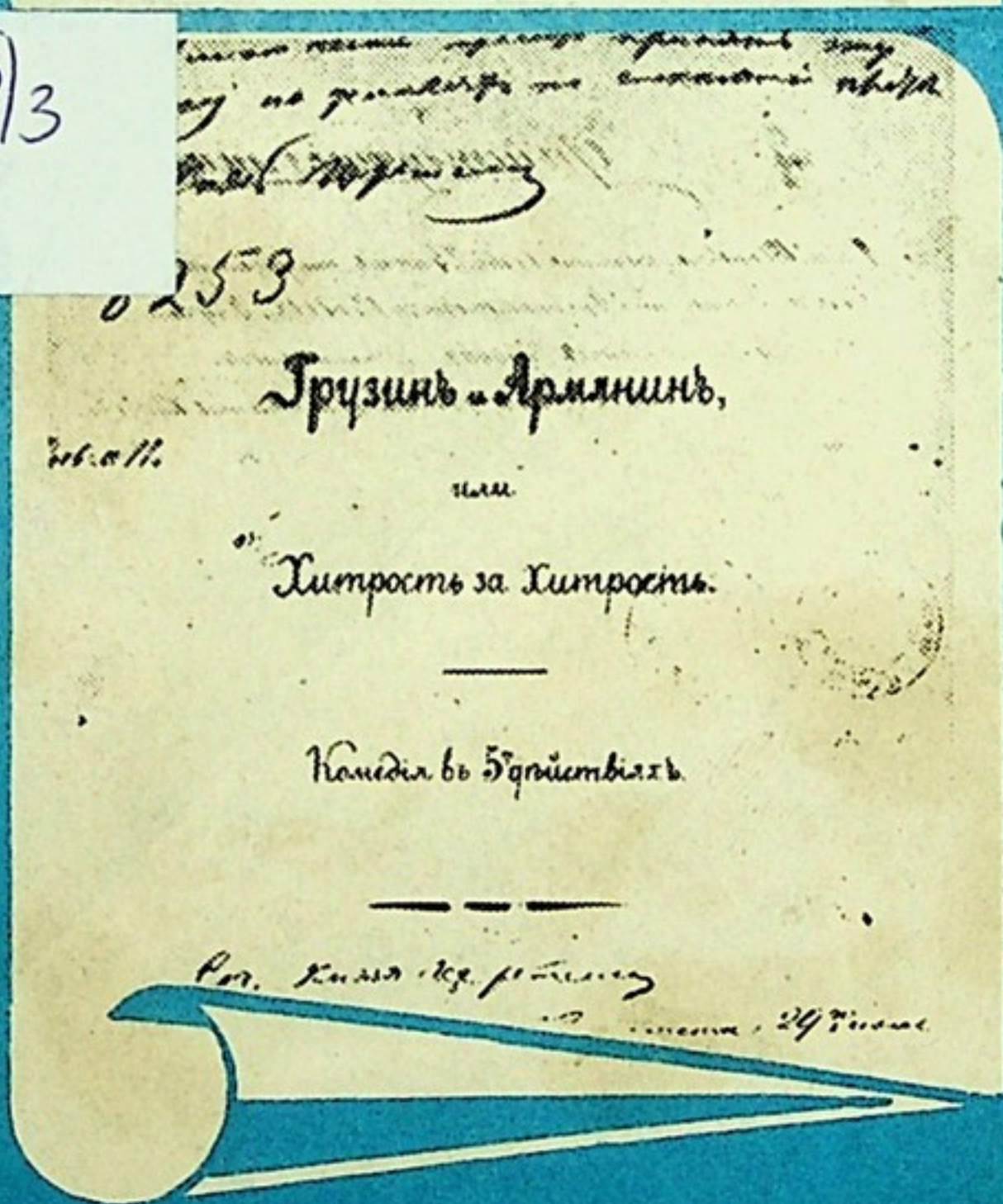




# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1990

R 10335/3  
1990



0253

Грузинь-Армянинь,

№ 11.

или

Хитрость за Хитрость.

Каведия вь Бггметвяхъ.

Ред. Каведия вь Бггметвяхъ

№ 11, 24 Января





# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Союза писателей Грузии

## СОДЕРЖАНИЕ

ИЗ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ. Небесные голоса. Ко-  
лыбельная. Стихи. Перевод Юрия Юр-  
ченко . . . . . 3

### ПРОЗА

ОТАР ЧИЛАДЗЕ. Мартовский петух. Роман.  
Продолжение. Перевод Элисбара Ана-  
нишвили . . . . . 6

МИХАИЛ ЛОХВИЦКИЙ. Поиски бсгов. Гла-  
вы из романа. Окончание . . . . . 87

### ПУБЛИЦИСТИКА

ИРАКЛИЙ ГОЦИРИДЗЕ. Частное расследо-  
вание, или Я заглядываю в сейфы власти.  
Продолжение . . . . . 139

# 6

Издательство ЦК КП Грузии, Тбилиси

Журнал выходит с июня 1957 года



К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
П. И. ЧАЙКОВСКОГО



**ЗАХАРИЙ ЧХИКВАДЗЕ.** Воспоминания о  
П. И. Чайковском. Перевод и вводная ста-  
тья Инги Бахтадзе и Надежды  
Димитриади . . . . . 201

ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА

**ИРИНА ДЗУЦОВА.** Маскароны . . . . . 213

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ  
**ЛУАРСАБ ЯШВИЛИ.** Незабываемое . . . . . 220

**АНАТОЛИЙ ШУСТОВ.** Кинжал с надписью  
«Нина» . . . . . 223

\* На 1-ой стр. обложки — титульный лист запрещенной царской цензурой комедии А. Церетели.



Илья ЧАВЧАВАДЗЕ

## Небесные голоса

О, ожидание  
Голоса дальнего...  
Вот они множатся  
и нарастают —  
Слушаю звуки  
и голоса я,  
Слышу рассказы их:  
где обитают,  
Откуда летят  
и куда улетают...  
Все говорите вы —  
Тайное самое...  
Как удивительны  
Вы, голоса мои!

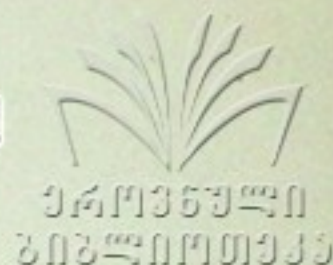
Голосом грешным,  
слабым и тонким  
Песням небесным  
вторю негромко.  
И о печали земной  
забываю,  
Мир и покой мной  
овладевают...  
Тихую радость  
вы мне поете —  
И замирает  
сердце в полете...  
Звуки растаяли.  
Канули... замерли...  
Вновь ожидаю я  
Вас, голоса мои!



752697



# Колыбельная



Баю-баюшки, сынок,  
Спи, свернулся день у ног...  
Отчего в твоих глазах  
Слезы горькие дрожат?  
Или ты увидел страх  
За тебя — в моих глазах?  
Или в черной мгле с дождем  
Ты прочел за чем рожден?  
    Отчего же ты дрожишь? —  
    Баю-баюшки, малыш...  
Спи... Спокоен будь и смел.  
Спи — чтоб выспаться успел,  
Спи, окрепла чтоб рука —  
Конь стоит без седока...  
Ты услышишь плач полей  
И орла тяжелый лёт...  
Это Грузия зовет  
Своих лучших сыновей;  
    Ждет тебя нелегкий бой —  
    Высыпайся, мой герой...  
Ты услышишь этот зов —  
Сердцу гордому укор —  
Песни грустные лесов,  
Стоны горестные гор...  
Я тебя благословлю —  
Враг идет со всех сторон! —  
Колыбельную мою  
Сменит сабель смертный звон.  
    Пусть разит врагов клинок!  
    Баю-баюшки, сынок...  
Ты увидишь всюду гнет.  
Братьев рабство, смерть друзей,  
Землю враг на части рвет,  
Дым над Родиной твоей —  
Над могилою отца...  
Конь и сабля — до конца  
Будут пусть тебе верны,  
Славу Грузии верни!  
    И не дрогни, сын, в бою!  
    Баю-баюшки, баю...  
Для того, тебя, сынок,



Грудью я сейчас кормлю —  
Чтоб спокойно враг не мог  
Спать в родном твоём краю;  
Будь отважным, сильным будь!  
Если ж ты растешь другим —  
Горьким ядом станет пусть  
Молоко в моей груди!

Даже в мыслях — не предай!  
Спи, мой милый, баю-бай...

Я сама открою клеть  
И скажу тебе: Лети! —  
Научу тебя я петь  
Песню трудного пути;  
Только этот путь избрать!  
Только эти песни петь!  
Помни, высшее из благ —  
Человеком умереть!

Смерть найдет тебя в бою!  
Баю-баюшки, баю...

Спи... Младенческие сны  
Безмятежны и ясны...  
Что ж глаза твои влажны? —  
Отдыхай — тебе нужны  
Силы, чтоб лихие дни  
Ты достойно встретить смог;  
Умирая — улыбнись  
Небу Родины, сынок,  
Жизнь — земле возвращена!  
Нана, швило, нанина...<sup>1</sup>

Над кроваткою твоей  
День и ночь склоняюсь я...  
Святы слезы матерей  
И бессмертны сыновья,  
Что за честь своей земли  
Умереть в бою смогли.  
Вспоминай, сынок, в бою  
Колыбельную мою!

Мать тебя оплачет, сын!..  
Спи, мой маленький грузин...

Перевод Юрия ЮРЧЕНКО

---

<sup>1</sup> Баю-баюшки, сынок (груз.).





# МАРТОВСКИЙ ПЕТУХ

РОМАН

5

Ветер дул для всех, всех равно принуждал как можно глубже, как можно основательнее забиться в свои норы. Так что и в доме Упарашвили было в тот день не очень весело. В довершение всего труба их печки пропускала дым, так что в доме трудно было дышать — то мать, то сын, точно жители преисподней, заходились кашлем. Глава семьи еще не вернулся из милиции — верно, размещал охотничью добычу своего сына в милицейском подвале и Бог знает когда еще смог бы освободиться, или когда еще вспомнил бы о своем собственном доме. Впрочем, дома его все равно никто не дожидался, сын спал, жена сидела, притулясь у печки, и не то что размышляла, а взволнованно, встревоженно повторяла в уме одну и ту же

---

Продолжение. Начало см. в №№ 4, 5.



бессмыслицу — то ли просьбу, то ли жалобу, то ли молитву, то ли проклятье, а вернее всего, первые иррешедшие на ум слова, поскольку пока что толком сама не знала, как ей следовало поступить, жалобу по-давать или прошение, и что собственно с ними се-годня приключилось, чего им надо было ожидать — худа или добра; расправится ли судьба с ее сыном, как расправлялась прежде с братом, или на этот раз, наконец, восторжествует справедливость и вознагра-дит племянника за все, что пришлось претерпеть дяде.

Вот такие сложные, противоречивые чувства обу-ревали мать Гогия, и неудивительно, что она даже не удосужилась зажечь лампу, а сидела в темноте, как сова. Впрочем, мрак более соответствовал ее переживаниям, и, подобно сове, во мраке лучше ви-дел, лучше судил ее воспаленный рассудок.

Днем, когда ее сын провез через город перевешен-ный через лошадиную спину труп разбойника, она не испытала никаких особенных чувств, лишь обык-новенное любопытство заставило ее, как и всех других, выйти на улицу; и точно так же, как все остальные, она интересовалась лишь одним — не знакомый ли какой-нибудь ей человек этот убитый разбойник. Впро-чем, и другие тоже вышли на улицу с увеличенными фотографиями своих без вести пропавших отцов, братьев, мужей или сыновей и издали показывали эти портреты милиционерам — не этот ли? Короче говоря, на площади яблоку негде было упасть, казалось, пришло светопреставление. Пестрое людское море во-рочалось, ходило ходуном — каждому хотелось за-нять такое место, откуда можно было бы увидеть мертвеца. Видимо, четыре года войны не только не притупили, но даже еще обострили присущее челове-ку неудержимое любопытство по отношению к смерти вообще и к каждому мертвецу. Нескончаемый гомон толпы сливался в протяжный гул, подобный жужжа-нию пчелиного роя. Милицейские, не ожидавшие по-добной встречи, смущенно ежились на своих лоша-дях: не знали, как держаться, — то ли гарцевать с ве-селыми лицами, как подобает охотникам, вернув-шимся с богатой добычей, то ли повесить головы и хоть этим выразить, каким тяжелым камнем легла



им на душу эта непредвиденная смерть, это невольное убийство. У одного лишь Гогня играла на лице улыбка — он по-прежнему плелся в хвосте, следом за кобылой, залитой почерневшей кровью разбойника, и торжественно выставлял наскоро перевязанную руку, чтобы все видели ее и заинтересовались — что с ним случилось, почему забинтована его рука.

Матери Гогня, собственно говоря, нечего было выяснять и узнавать, — близких у нее, кроме мужа и сына, никого не было, а эти двое были здесь, перед нею, вполне благополучные, сопровождали труп, и она поэтому в отличие от других спокойно, почти равнодушно взирала на происходящее; но когда кто-то крикнул ей: «Это твой сын убил человека, несчастная!», она вдруг растерялась и словно вся развалилась на части; почему-то глубокое изумление овладело ею, сперва она облилась холодным потом, а потом ее бросило в жар — как если бы, оправляя утром свою постель, она обнаружила неожиданно-негаданно под подушкой окровавленный нож или бриллиант величиной с куриное яйцо; да, да, неожиданно-негаданно, так как она уже не надеялась, что жизнь еще когда-нибудь улыбнется ей, сочтет, что она чего-то еще стоит, — ведь ее брат уже давно гнил в могиле, а муж и сын давно примирились со своей ничтожностью и ничемностью и ничего не могли совершить такого, чтобы заслужить награду или понести наказание. Так ей казалось до нынешнего дня, до той минуты, когда ей крикнули: «Твой сын убил человека»; с того самого мгновения она никак не могла собраться с мыслями, чтобы спокойно, хладнокровно обдумать — что за этим могло последовать, награда или наказание. После смерти брата у нее не осталось больше ни желания сражаться с жизнью, ни силы, чтобы схватиться с нею; она не ждала уже от жизни ничего ни хорошего, ни плохого, — но сегодня совершенно неожиданно сама жизнь выбрала именно ее среди всего этого пестрого людского моря и указала на нее пальцем: вот, мол, женщина, сын которой убил человека; а это прежде всего обозначало возрождение и возвращение всех прежних надежд, прежних мечтаний, прежних волнений и тревог, ибо до сих пор никем раз



навсегда не установлено, что полагается за убийство — только наказание или только награда: бывает так, бывает иначе, иных наказывают, а иных и награждают, и если хорошенько разобраться, никто не сможет с уверенностью сказать, кого на свете больше, наказанных за смертоубийство, или награжденных за него. Так что мать Гогия, уже махнувшая было на себя рукой, вышедшая из игры, утратившая надежду, внезапно снова оказалась в самой гуще жизни, среди пестрого житейского моря, которое волновалось вокруг нее так, что спирало дыхание и сердце норовило выскочить из груди — волновалось, металось, ходило ходуном и, само вечное и неизменное, обязывало и ее не сдаваться, не бросать оружия, еще раз попробовать сразиться... И она приняла эту неожиданную весть так, как если бы вынесла из пестрого жизненного моря туго набитую сеть — только надо было еще выяснить, чем сеть наполнена — рыбой или водорослями и илом. Бесталанному ее брату всю жизнь мерещилось, что он поймал лосося, а в конце концов оказалась у него в руках горсть липкой грязи: пока он терпеливо ждал, другие присвоили его заслуги и его трофей, а когда он напомнил о себе и потребовал обещанного, предали его, накинули ему на шею петлю, потому что... потому что так устроен мир: не сумеешь ухватить вовремя свое — утащит другой, и нельзя его винить за это, утробу каждому нужно ублажать и каждый одинаково затрудняется вынуть из кармана и отдать то, что однажды прикарманил. Так что надо своевременно получать, что тебе полагается, — дело это не любит проволочек: тот, кого сегодня обзывают злодеем, завтра, глядишь, окажется Бог еще знает кем, и сегодняшняя твоя заслуга может вдруг обернуться преступлением. Убил я? Ну и заплати мне за это, отсчитай из руки в руку — вот единственный, самый правильный путь, если говорить о честном сведении счетов. Но несчастный ее брат совсем уже не разбирался в делах этого мира, мозги у него были притуплены от нескончаемого ожидания, он ничего не хотел слышать, а только грозился — я сам, мол, знаю, как себе помочь, да только это уже было ему не по зубам. Может,



он еще надеялся, еще верил, что добьется чего-то, а может, чем признаться в своей дурости, решил так до самого конца и валять дурака, — а впрочем, все это было не полностью по его вине, тут не то что простой человек, а и мудрец растерялся бы: покойника-то, убитого, сегодня обливают грязью, дескать, барин, враг, а завтра, смотришь, возвеличивают, поднимают до самых небес. Ну, и убийца его, естественно, не знал, что и думать, как себе помочь. Под конец он ходил почернелый лицом как арап — встретили бы вы его на улице, отшатнулись бы в испуге, но он и выглянуть уже на улицу не хотел, сломился сразу, вдруг постарел, и в довершение всего еще мучился страхами, ночью не мог заснуть, стоило задремать, как мерещились мертвецы. — «Я в вас не стрелял! — клялся он, обезумев, — спросите Горожанина, он вам правду скажет». Но потом, выпив воды и немного придя в себя, собравшись с мыслями, горько усмехался — какой там Горожанин, откуда ему взяться, если существует ад, он там давно уже свой человек. — «Если ты никого не убивал, так за что же ожидаешь наградных денег?» — язвила его сестра, потому что для сестры он был с давних пор мертв, наверно, с того времени, когда выбрался из цыцанурских лесов и в одиночестве приступил к своему сорокалетнему ожиданию — никому не доверился, чтобы не пришлось и деньгами ни с кем поделиться. Ни единого дня не прожил он по-человечески, ни одного куска не съел с охотой и с удовольствием, ни разу не спал безмятежным сном. Раз как-то спутался с одной пропащей женщиной из Грмагеле, но и та прогнала его, сказала, что от него трупом пахнет. Вот так навеки отравил ему жизнь тот «благословенный» барин, не к ночи будь помянут, потому что все равно хозяева жизни — они, хоть ты революции устраивай, хоть ты на голове стой. Большой человек всегда — большой человек, а бедняк так и останется бедняком, даже если он прикончит не одного барина, а десятерых, вместе с их женами и детьми. Вечно ему мерещилась виселица — при том, что он ждал награды. А больше всего бесился он от того, что товарищи покинули его на произвол судьбы, даже



и не справившись, что с ним случилось. Научили его, как убить человека, а того не объяснили, как ему жить дальше. Между прочим, он и в самом деле ничего тогда не понимал в житейских делах, был он простой, темный парень, не нашедший своего пути, выросший без призора и изначально озлобленный, ослепленный беспричинной, беспредметной ненавистью. И взял он ружье в руки для того, чтобы сообщники не сочли его деревенщиной, не насмехались над ним. Ему было все равно, кого убить, для него имело значение лишь слово того, кто решил бы взять его в единомышленники, то есть счел бы его за равного, за человека. Хоть и темен был его разум — а может быть, именно по этой причине, — его переполняло болезненно обостренное честолюбие — и благодаря какому-то животному инстинкту он чувствовал, что должен унижить другого человека для того, чтобы тот, другой, не смотрел на него сверху вниз. И выстрелил он в тот раз скорее для того, чтобы показать себя перед сотоварищами, нежели в расчете на награду. О вознаграждении он стал думать, — с такой страстью, с такой до безумия доходившей сосредоточенностью — лишь после, потому что испугался, как бы сообщники не сочли его совсем уж безмозглым дураком, серой деревенщиной. Словом, был он не горяч и не холоден, ни то ни се, ни вода, ни вино, — а взвалил такой огромный грех на душу. Если бы Горожанин не окликнул его — «Что это ты оцепенел», — он и вовсе навсегда бы осрамился. Как-то заворожили, сковали его глаза жертвы, свет, изливавшийся из этих глаз — удивительно, необъяснимо, чудодейственно умиротворяющий, совестьный и, видимо, обессиливающий, потому что он никак не мог опустить курок, так и примерз у него палец к спуску, и целый век прошел, блаженно мучительный и мучительно блаженный век, прежде чем Горожанин окликнул его, — но стоило ему услышать этот окрик, как жертва схватилась обеими руками за грудь, глубоко вздохнула, словно сбросивший тяжелую ношу грузчик, и вывалилась из коляски, а он подбежал к умирающему, опустился перед ним на корточки и, затаив дыхание, вглядывался в его лицо до тех пор,



пока этот странный, непонятно тревожащий свет не померк, не истаял и, превратившись в искорку, не застыл кристалликом с булавочную головку над остывшим остатком застывшего зрачка. — «Да это сумасшедший какой-то», — засмеялся Горожанин. А у него от волнения свело челюсти и, ничего другого не сумев придумать, он вдруг размахнулся и ударил прикладом в лицо жену жертвы — ударил раз, другой, третий... размозжил, раздробил, как скорлупку, лицо несчастной женщины. — «Э, да на него впору смирительную рубашку надеть!» — снова усмехнулся Горожанин. Потом поднял двумя пальцами с земли разбитые очки убитого, поднес их жеманным жестом к глазам и смешно пропищал: «Суд идет, прошу встать!» А у него, у убийцы, тогда в первый раз словно клещами стиснуло сердце, и с тех пор вот уже сорок лет не унимается эта боль, порожденная совершенно незаслуженной насмешкой и совершенно необъяснимым равнодушием к нему его тогдашних сотоварищей.

Когда он убил человека, ему не было и двадцати, а когда его притянули к ответу за убийство, он успел уже прожить порядком больше полувека. А значит, на протяжении почти что сорока лет непрерывно, неизменно, с удивительной точностью повторялось со всеми подробностями в его сознании это леденящее кровь убийство; сорок лет подряд он с одинаковой истовостью (как бы Горожанин не заподозрил, что он испугался) убивал одного и того же человека, и сорок лет подряд (от обиды на Горожанина) расшибал прикладом лицо жены убитого. И поэтому с учетом этого непрерывного убийства составлял он, само собой разумеется, в течение сорока лет свои повседневные планы, из этого непрерывного убийства зарождались все его новые намерения, стремления и потребности... Этим непрерывным убийством был обусловлен каждый его шаг в жизни, каждый его поступок, и все же до последней минуты он твердо верил, что заслуживал не сурового и жестокого наказания, а награды за это совершенное сорок лет назад и сорок лет длящееся преступление. — «Это чьи-то происки, нашелся у меня враг, не то, может, довелось бы и мне пожить день-другой по-человечески», —



говорил он сестре желчно, со злобой и сожалением. Говоря «чьи-то происки», он, наверно, разумел все того же Горожанина — это Горожанин был всему делу зачинщик и предводитель, это Горожанин <sup>уговорил</sup> его убить человека и обещал за это немалое вознаграждение, — но с того самого часа, как сообщники распрощались в цицамурском лесу, он этого Горожанина даже издали, даже мельком ни разу не видел, словно земля того поглотила, хотя, по правде, по тем временам в этом не было ничего ни удивительного, ни тревожного — власти неистовствовали, разыскивая убийц, и жестоко, беспощадно расправлялись с каждым, кто, по их подозрению, мог иметь какое-нибудь отношение к преступлению. Многих в том же году схватили и даже наказали — правых и виноватых, преступных и невинных; а когда он, истинный душегуб, случайно узнал, что жена убитого обратилась к правительству с просьбой пощадить убийц, его словно громом поразило, он чуть было не явился с повинной в полицию — как же так, кто-то непричастный получит амнистию, а он, истинный преступник, останется на бобах! — но, к счастью, вспомнил наставление Горожанина: «Ты не думай, что это обычный грабеж с кровью на большой дороге, — сказал тот. — Мы имеем дело с большим человеком, и должны вооружиться терпением; чем больше времени пройдет, тем выше будет цена», — и что это в самом деле так, стало ясно уже в день похорон убитого, хотя, правда, трудно было понять, кто, собственно, будет платить за убийство, если весь свет, все поголовно оплакивали покойника. И все же, по совету того же Горожанина, он набрал воды в рот, «вооружился терпением» и крепко держал язык за зубами, хотя с самой первой минуты ему отчаянно хотелось открыться кому-нибудь, рассказать со всеми подробностями обо всем, что с ним было и что он содеял в цицамурском лесу. Если два человека — кто бы они ни были — заговаривали друг с другом в его присутствии, он непременно вмешивался в разговор, всячески старался привлечь к себе их внимание и если не откровенностью, так хоть несдержанным, бесцеремонным разговором и вольным, даже наглым



поведением дать им понять, что они имеют дело не с кем попало, а с человеком значительным, кому известно нечто серьезное, важное, такое, что им даже трудно себе представить. Еще тогда, в день убийства в цицамурском лесу родилось у него такое желание, а когда он расстался с сообщниками и впервые ступил на тропу своего сорокалетнего ожидания, у него уже чесался язык, уже мучило его желание рассказать обо всем. И он заговорил, едва успев войти в столовую в Авчала и еще не усевшись, не устроившись за столом. «Нет, брат, что правда, то правда, — человек все может», — говорил он как бы сам с собой, ни к кому не обращаясь, но громко, так, чтобы всем было слышно, и изо всех сил тер одной рукой другую, — они, собственные его руки, причиняли ему неловкость, ибо еще не утратили ощущения гладкой, скользкой поверхности и тяжести ружейного приклада.

— Откуда путь держишь? — спросил его кто-то.

— Откуда? А как ты думаешь, — откуда я могу идти? — ответил убийца вопросом на вопрос.

— Почему я знаю? — отступился спрашивающий. — Наверно с базара, как я.

— С базара? — усмехнулся насмешливо убийца, изобразив изумление. — Разве похоже, что я тебе товарищ? Нет, брат, не отгадаешь. У тебя на уме одни мешки да корзины. Вору всюду воры мерещатся, а шлюхе — шлюхи, слышал? Небось, думаешь — вот еще один крестьянин, вроде меня, свез, как я, огурцы в город, продал с выгодой и теперь возвращается на радостях домой. Так ведь думаешь, верно? Прав я или нет? — допрашивал он незнакомого человека азартно, с волнением.

Голос у него то становился хриплым, то прерывался, и это тоже почему-то распаляло его.

— Да прав, должно быть, — ответил немного растерянный крестьянин.

— Расскажи я, кто я такой и откуда иду, у тебя волосы встанут дыбом. Нынче, братец ты мой, мужик и олух — одно и то же. Кончилось, ушло старое время. Теперь наступило новое, и мы должны его укрепить и утвердить. Без господ. Без барина и барыни.



Пусть справедливость получит свое — не вечно же ей сидеть впроголодь! Должна она насытиться или нет? — уставился он на слушателей, готовый разразиться громом.

— Должна-то должна, давно пора, да кто ей даст? — пробормотал крестьянин, нерешительно улыбаясь, словно догадавшись, с кем имеет дело, но все же до конца не веря своей догадке.

— Я ее накормлю, я! — вскричал убийца, и голос у него снова сел, охрип. — Не верите вы все, нет? — продолжал он хрипло, и губы его искривила язвительная улыбка. — Да впрочем, сказать по правде, с чего вам верить? — неожиданно остыл он. — Как это простой крестьянин, такой же, как вы, может накормить справедливость да правосудие? Это же не какой-нибудь пристав — само правосудие, черт побери! Как тут не удивиться! Нет, братец ты мой, не верь! Но ведь иначе-то тебе нельзя! — продолжил он с коварной улыбкой. — Не поверишь — посмотришь, с какой будешь прибылью. Пули с мизинчик — и того для тебя много, хватит и пули с ноготок, хватит с лихвой, всему заставит поверить, да так, что дай Боже. И сложишь ты руки на груди. Вздохнешь в последний раз и заснешь — сладко, без хлопот. Да кто ты собственно такой, что я тут целый час перед тобой распинаюсь? — внезапно рассердился он. — Я тебя спрашиваю, кто ты такой? Слышишь? Откуда идешь? — он обвел быстрым взглядом столовую, чтобы убедиться, что все его слушают, и продолжал: — А если я тебе скажу, что час тому назад убил человека, который самому царю ровня, ты поверишь? Ну, так заткнись, сиди себе тихо, где сидишь. Не до тебя мне.

— Да что я тебе такого сказал, сынок? — оробел не без основания крестьянин, но убийца еще распалился.

— Какой я тебе сынок? Вот уж олух ты в самом деле! — но смотрел он не на собеседника, а на других, «слушателей», «свидетелей», и ужасно интересовало его, на чьей они стороне, чьи речи им больше нравятся, того чумазого, вшивого, как они сами, крестьянина, или его — убийцы царского ровни.

Но главное все-таки было время — надо было, что-



бы оно прошло, так или иначе прошло, потому что в первую очередь и превыше всего обещанное вознаграждение должно было подтвердить, что он вообще представляет собой что-нибудь. А время шло, проходило — хотя бы потому что ему было безразлично, для кого оно проходит, для него ведь любой, и крестьянин, и убийца, назывался одинаково гостем в мгновенном мире, и разумеется, оно, время, на любом оставляло свой неизгладимый след — одного стирало с лица земли, другого возрождало, того умаляло, а другого возвеличивало. И, соответственно, оба, и крестьянин, и убийца, одинаково подчинялись времени, то есть преобразались, изменяли лицо сообразно с временем; а в общем, крестьянин все ковырялся в своем огороде, убийца же все дожидался заслуженной награды.

Но по мере того, как возвышалось имя и возрастала слава его жертвы, увеличивался и аппетит убийцы, укреплялась его уверенность в том, что и вознаграждение должно соразмерно возрасти. И, сверх того, постепенно родилось и росло в нем странное, необъяснимое, едва ли даже выразимое, но явственное родственное чувство по отношению к убитому; и если кто-нибудь в его присутствии непочтительно отзывался о покойном, говорил о нем что-либо дурное или хотя бы не отдавал ему должного, убийца сразу взрывался, вскидывался, набычивался, как некогда там, в цицамурском лесу, от незаслуженной насмешки Горожанина. Он гордился славой своей великой жертвы и придавал огромное значение тому, что судьба возложила именно на него убийство такого человека. Он завел большую папку, в которую складывал всевозможные материалы, связанные так или иначе с убитым, — будь то статьи, какие-либо биографические сведения или портреты. (Между прочим, эта папка оказала ему немалую услугу: его считали заядлым почитателем Ильи Чавчавадзе — с известной точки зрения так оно и было, — и поэтому обращались с ним мягко, снисходительно, щадили его. А позднее, когда он явился к сестре и попросил приютить его на некоторое время, то папку эту, уже довольно толстую и замусоленную, полинявшую от времени, он подкла-



дывал себе под голову вместо подушки, устраиваясь спать где-нибудь в уголке на полу).

А время шло. Первые десять лет — <sup>დასრულებულია</sup> ~~впрочем~~ <sup>დასრულებულია</sup> так же, как и последующие десятилетия — протекли в бессмысленных скитаниях. Сначала он довольно долго занимался конокрадством на Северном Кавказе, перегонял похищенных лошадей во внутренние российские губернии и там торговал ими; потом бродил по России вместе с молоканами и наконец очутился в Средней Азии — там грузины-виноделы из милости приютили его; но и соотечественники недолго смогли его терпеть, скоро и им он показался невыносимым, и они раскошелились на немалую сумму денег, которую сунули ему за то, чтобы он убрался оттуда. — «Странно пахнет от тебя, словно бы трупом, — закинули они ему как-то осторожно словечко в разговоре. — Как бы вино у нас не испортилось». Он и сам знал, что от него шел «какой-то странный» невыносимый запах — знал задолго до того; еще в Тбилиси сказала ему об этом одна проститутка (с тех пор он вообще уже не приближался к женщине). Тогда он был еще молод, полон сил, и время еще непереносимее тянулось в бессмысленном, тщетном ожидании. Разумеется, и близость женщины не приносила ему желанного облегчения и покоя, но все же быть с женщиной было лучше, предпочтительней, тем более, что не имело никакого значения, где именно дожидался он своей награды — в комнате у продажной женщины или в любом другом месте.

У той потаскухи был один альбом, огромный, как могильная плита, в бархатном переплете, подаренный вместе с вклеенными фотографиями каким-то одесситом, и этот альбом он рассматривал целыми днями — развлекался, как мог. Все фотографии он уже знал наизусть, хотя на них были изображены лица, не знакомые ни ему, ни его подруге; и однако воображаемая прогулка по жизни этих чужих людей доставляла ему определенное удовольствие, и он готов был часами сидеть и отгадывать, какие родственные, духовные или деловые связи могли их связывать между собой. Не раз приходилось ему и поспорить на эту тему с проституткой, и довольно часто доходило даже до вполне





серьезной ссоры. Лишенные собственной, они пытались жить чужой жизнью, хотя от этой «чужой жизни» скорее всего только и сохранились, что фотографии в альбоме.

Однажды, рассматривая, как обычно, изображения в альбоме, он вдруг окаменел, как громом пораженный: из альбома смотрел на него тот, убитый им человек, изливая на него тепло своей переворачивающей душу улыбки. Всего мог ожидать убийца — но что здесь, в комнате этой падшей женщины, натолкнется на того человека, он не мог и подумать. На мгновение мелькнул перед его взором тот далекий, давний, вечный день: фыркнула лошадь в цицатурском лесу. «Приготовьтесь!» — сказал Горожанин... Убийца сперва изумился, а потом пришел в ярость — нет спасения, никуда не денешься, всюду разлита, всюду царит эта душа! — «А это кто тебе подарил?» — крикнул он хозяйке альбома. Она стояла, накинув на плечи пальто с облезлым меховым воротником, в одной руке у нее была дымящаяся папироса, в другой — пуховка, обсыпанная пудрой. Убийца схватил ее за руку с пуховкой, ударил ею по альбому и снова закричал: «Откуда тут взялся портрет этого человека?» Пудра белым снегом осыпала улыбающееся лицо на портрете. «Ах ты, вот незадача!» — рассмеялась женщина. «Я убил этого человека!» — круто оборвал он ее смех, как будто, не скажи он этого сию же минуту, она потом уже не поверила бы ему. Женщина поглядела пристально ему в глаза, потом снова глянула на альбом, потом вырвала руку из его руки, в испуге, растерянно провела пуховкой под подбородком и сказала: «А знаешь, говорят, он крестьянам воды не давал из своего родника».

— Молчать! — гаркнул на нее убийца и тут же рассердился на себя: чего он накинулся на эту глупую бабу? — Прополощи свой вонючий рот, прежде чем говорить о нем! — продолжал он, внешне успокоившись, но все никак не получалось у него то, что он хотел сказать. Да к тому же ему и в самом деле было жалко эту облезлую, обсыпанную пудрой потаскуху, в ярости и изумлении отчаянно кричавшую у него над головой: «Да как ты смеешь, как ты смеешь, с кем говоришь?!»



— Смею, смею, тебе говорю, стерва... Путаешься тут со всякой дрянью, — снова взорвался убийца, хотя изо всех сил старался сохранить спокойствие и пристойно обходиться с женщиной, как подобало убийце великого человека. Но женщина не замечала или не ценила его сдержанности и, все больше распаляясь, визжала: «Чтоб тебя глаза мои больше не видели, чтобы твоего духу здесь не было!»

— Твои глаза? Знаешь, куда их... — начал спокойно убийца, словно собрался сказать что-то очень умное, но вдруг махнул рукой и поднялся с места: понял, что здесь его не поймут, как бы ни было «разумно» то, что он говорил. Но перед тем, как он встал (возможно, потому он и поднялся так поспешно), опять промелькнуло у него в уме возвышенное, величественное видение: приподнявшийся с сидения коляски человек устремил на него вспыхнувшие странным светом глаза и собирался что-то сказать. И тогда он, убийца, немедля всадил в него пулю, потому что промедлить — значило погибнуть: он тут же грянулся бы на колени, ударился бы лбом о землю перед своей жертвой. «Не подходи, не прикасайся ко мне, от тебя трупом несет!» — кричала женщина, и он удивленно вскинул на нее взгляд — ему и в голову не могло прийти дотронуться до нее, испачкать руку, только что освященную чистой кровью святого, прикоснувшись к площадной шлюхе. А она, площадная шлюха, тряслась, как в ознобе, уйдя головой в плечи, белая, как мертвец (впрочем, возможно, просто очень уж густо была обсыпана пудрой). «Уходи», — сказала она тихо. «Что тебе примерещилось, с ума ты, что ли, сошла», — попытался все же убийца ее успокоить и полез в карман за деньгами. А та подбежала к окну и одним толчком распахнула его. В комнату ворвался шум дождя вместе с приятной прохладой.

— Пусть скорее выветрится трупный запах... Не могу больше терпеть, — сказала женщина, поправляя волосы дрожащей рукой.

Тогда убийца окончательно сложил оружие, понял, наконец, что никак не сумеет вразумить эту женщину.

А время шло, проходило, полное неопределенности, страха, ожидания, и вот в один прекрасный день в са-



мом деле свершилось то, что предсказывал Горожанин: все переменялось, перевернулось, в России сбросили царя, а в Грузии пришли к власти меньшевики. И эта всеобъемлющая перемена, разумеется, взволновала, взбудоражила и убийцу — он утратил осторожность и рассудительность, ошеломленный, растерянный бродил по городу, как влюбленный студент по расцвеченным весной рощам, и всем своим существом томительно ощущал, что больше не в силах терпеть, больше не может ждать, не способен справиться с собой, не сумеет сдержать, одолеть все сильное, охватившее всю его душу желание, потребность, страсть... И лишь после того, как он торопливо, сбивчиво объяснил дежурному в милицейском участке причину своего прихода, охватило его изумление: он даже не заметил, как явился сюда.

Милицейского явно привела в замешательство и даже испугала его исповедь. Сначала он хотел было рассердиться, но намерение это покинуло его раньше, чем он успел принять вид разгневанного представителя власти. Он уронил руки, как два ненужных предмета, на стол перед собой и беспомощно опустил голову. Долго они оба молчали. Муха с жужжанием билась в оконное стекло. Жужжание это пугало, перебивало мысли убийцы, раздражало его, и он, обливаясь потом, тщетно старался отыскать глазами муху. На улице изредка проносилась со стуком и скрежетом пролетка или телега. Было жарко. В одном из углов помещения участка стояла прислоненная кем-то винтовка, и перед глазами убийцы снова встала цциамурская лесная чаща. «Да пошевелись ты!» — окликнул его Горожанин. А он все оглядывался, не мог отвести взгляд от убитых. Они и мертвые были так красивы, так опрятны. Он сказал об этом Горожанину, когда догнал его: «В жизни не видел таких чистых, красивых людей». «Ну, так и не увидишь больше», — коротко отрезал Горожанин.

Потом милицейский сказал ему, чтобы он не трогался с места (заметил, видно, что он и не собирался никуда уходить), и вышел из помещения. Убийца сидел, не трогаясь с места. Он не встал даже на мгновение для того, чтобы раздавить надоевшую муху на окон-



ном стекле. Сидел и ждал. Ожидание было ему привычно. Но на этот раз этому его ожиданию не доставало надежды и веры: поведение милицейского ввергло его в сомнение и даже испугало его. — «Как это — поздно опомнился?» — спорил он с милицейским в уме. По пути сюда он думал, что его встретят с торжеством — для последующего наказания, если и не для награды, — а тот вон как: время ли, мол, вспоминать такие старые истории, на этот счет и инструкции никакой нет. «Ты, братец, видно, только что вылупился, зелен еще, ничего в своем деле не смыслишь», — спорил он, бранил ушедшего, растерянный, путаясь в мыслях, и смиренно, недвижно сидел в ожидании на табурете. Сидел и ждал. Все равно — ждал, словно для него имело какое-нибудь значение, с каким ответом вернется дежурный. Будь он откровеннее хоть с самим собой, он тут же, сидя на этом табурете, с руками, зажатыми между коленей, под бесконечное назойливое жужжание мухи на окне и редкий стук и грохот проносящихся по улице пролетов и телег, то мог бы даже радостно объявить: «Вы уж как там знаете, а для меня теперь все равно, чем бы ни завершилось это проклятое, это нескончаемое ожидание...» И в самом деле — когда в помещение ворвались уже не один, а несколько милицейских, он несколько не удивился и не попытался бежать.

Зато очень скоро убежали меньшевики, а большевики распахнули перед ним, как и перед всеми заключенными, двери тюрьмы (откуда им было знать, по какому делу он был посажен в тюрьму меньшевиками!). «Здравствуй, товарищ! Да здравствует свобода! Да здравствует свободная Грузия!» — «Да здравствует! Да здравствует!» — соглашался, вторил он. Да и что он мог иметь против? Он стоял вместе с красноармейцами-освободителями и другими заключенными во дворе Метехского замка и, сорвав с головы шапку, как все остальные, пел Интернационал. Впрочем, вернее, не пел, а лишь раскрывал рот, притворяясь, что поет, потому что не знал ни слов, ни мотива, и вообще ничего не понимал в песнях, даже во хмелю никогда не испытывал желания петь, не имел такой потребности. А сейчас он мял в руках засаленную арес-



тантскую шапчонку и изо всех сил разевал рот, как голодный птенец. Бледные лица освобожденных узников пестрели темными пятнами, но глаза у них сияли радостно, как у детей. «Иди сюда, брат, обнимемся, — говорил заключенный красноармейцу или красноармеец заключенному. — Вот это и есть братство и единение!» А убийца, подхватив грязный узел со своими пожитками и зажав под мышкой папку, полную стихов и изображений Ильи Чавчавадзе, осторожно, незаметно, «распевая» на ходу, продвигался к широко распахнутым воротам тюрьмы, чтобы еще раз закружиться в мутном водовороте жизни, еще раз вступить на бесконечную дорогу ожидания...

Он переменял столько разных занятий, что и сам не мог их перечислить. Одно время он работал на мельнице, на Куре, потом водил трамвай в Навтлуге, служил сторожем в больнице на Авлабаре, — а ожидание все длилось, не росло и не убывало, громадилось, как скала, неприступная, неодолимая... А он, подвешенный к этой скале на веревке надежды, не обладая никаким иным орудием, ногтями вырезал себе еще и еще одну ступеньку, упор для ноги, чтобы хоть немного, хоть чуть-чуть приподняться над повседневной грязью и нищетой. Но кому под силу было бы бороться ногтями с кремнистой скалой, и сколько ему надо было высечь ступенек, чтобы достичь несуществующей вершины? Пожалуй, он уже и привык, приспособился к такому — без наказания и без награды — существованию, но когда разнесся в городе слух, что на месте, где был убит Илья, воздвигли обелиск, тотчас же с новой остротой ожил в нем старый недуг, и он твердо решил, хоть и не знал, что такое обелиск, непременно отправиться посмотреть на него — непременно, во что бы то ни стало, даже если этот самый обелиск окажется попросту обыкновенным капканом, ловушкой, поставленной для поимки еще не обнаруженных убийц в Цицамурском лесу. Он и в самом деле подумал было так сначала, когда там, в Цицамури, не доходя до того места, возникло перед ним, вырвавшись из вечернего полумрака, что-то страшное, черное, вздыбленное, высоко вознесенное. Долго он



стоял онемев, с колотящимся сердцем, на месте, пока не убедился, что «чудище» это было обыкновенным каменным столбом. Он даже улыбнулся собственной трусости. «Вот так фокус со мной вытворил!» — подумал он, разумея, должно быть, того, кто поставил столб, — и только потом, с опозданием рассердился, накинулся в уме на него: «Ничего-то ты толком не знаешь! Не здесь это было, а повыше, впереди!»

Вдруг, откуда ни возьмись, подкатил к обелиску автобус и лучами своих фар сразу высветил, выделил его из мрака.

Автобус был битком набит. Люди сходили с него один за другим, со смехом, с шумом, с гомоном — видимо, ужинали нынче на воздухе и немного при том подвыпили. Все были оживлены, возбуждены впечатлениями целого дня, прогулкой, усталостью, хмелем. «Навеки и везде я, Грузия, с тобой!» — выкрикивал кто-то. Несколько женщин, встав на колени перед самым обелиском, прилепляли к гранитной плите восковые свечи. Один за другим вспыхивали, колебались, дрожали и мерцали огоньки — несмело, тускло освещали блестящую поверхность гранитной плиты, незначительную часть не столь уж большого обелиска, и все же создавалось такое впечатление, словно впереди, за свечами, возвышалась глухая, беспредельная стена — от земли до неба, от одного края вселенной до другого. Охваченные страстью поклонения экскурсанты (видимо, педагоги из какой-нибудь школы или сотрудники какого-нибудь учреждения), обходили вокруг обелиска и забрасывали его нарванными по пути сюда полевыми цветами. Цветы успели в автобусе завянуть, но это не имело никакого значения — они вполне подходили для проявления стихийно родившегося, подогретого вином, обостренного патриотическим чувством и в то же время в высшей степени человеческого порыва — выразить благодарность и дать обет вечной памяти своему поэту. «Навеки и везде...» — декламировал кто-то; — «...но грядущее — твое!» — вторил другой. А свечи пылали, огоньки дрожали, мерцали. Отбрасываемые под их слабым сиянием, неясные, несоотносительно удлиненные тени-призраки доставали головами до неба, упирались в притихшие среди мрака горы



за Арагви, на дальнем берегу. Казалось, дэвы-великаны завели сказочный хоровод. Потом заметили убийцу и втащили его к себе в круг. И так все обрадовались появлению нового, чужого человека, словно без него не стоило и ломаного гроша никакое торжество, словно только его, именно его им не хватало до сих пор, и сейчас, когда он так своевременно показался, не знали, как выразить свою радость. Его заставили опуститься вместе со всеми на колени, на «землю, полигую священной кровью», подали ему бутылку вина и потребовали, чтобы он в свою очередь поднял тост за того, «за причину всех причин». — «Говори, дяденька, ты лучше всех скажешь, по-простому, по-крестьянски, по-благостному», — подбивали, подбадривали его со всех сторон, и на мгновение ему самому действительно захотелось сказать речь, он даже подумал, что вот сейчас, здесь должно выйти на свет все, что скрыто, но все же удержался, не осмелился, животный инстинкт остановил его, он понял, что именно здесь и именно сейчас нельзя обнаружить истину. Устрашило, ужаснуло его нетерпеливое, безмолвное, но как бы бурлящее ожидание собравшихся. — «Хлеб наш в крови, и все мы кровавую воду пьем», — выдавил он наконец из себя слова, слышанные то ли во сне, то ли в дневных грезах. И тогда началось что-то невообразимое, такое, что в испуге взлетели с шелестом крыльев уснувшие было в чашах птицы. В восторге подбрасывали экскурсанты его, убийцу, высоко вверх, в небеса, к сияющим звездам. Потом посадили его себе на плечи и с торжественным пеньем несколько раз обнесли вокруг обелиска. «Кто скажет, что выродился грузинский крестьянин, что нет больше грузинского крестьянина?» — кричали в восторге ошалелые от блаженства, распаленные счастливой минутой люди. «Молодец, дядя!» — расхваливали они напряженно, настороженно улыбавшегося убийцу, неловко ерзавшего на своем колеблющемся троне из подставленных почитателями плеч. «Давайте, давайте, подпирайте все!» — звали тех, кто оставался снаружи круга, и все спешили протиснуться поближе, подставить руку, все хотели прикоснуться к нему, к грузинскому крестьянину, воздать ему должное за выносливость, за степенность, за мудрость... Потому что он



был достоин почета — разумеется, по их тогдашнему разумению. А убийце было неудобно сидеть на руках, словно вырвавшихся из мрака, и он, то ли испуганный, то ли просто оторопелый, глядел на мир с высоты человеческого простодушия, человеческой близорукости и человеческого неведения.

Когда он пришел искать пристанища у сестры, волосы и борода его были уже побелены осыпью размолотых жерновами бессмысленного ожидания лет. Глаза, водянистые, выцветшие от этого долготерпения, болели, слезились, меркли. Им легче было видеть давно исчезнувшее прошлое, нежели то, что существовало сейчас, — вернее, они не видели, а вспоминали. На что бы ни обратился их взгляд, все та же величественная картина неизменно всплывала перед ним, вырисовываясь, возникая из ничего, из пустоты — постепенно, мучительно, но неотвратно, и в душе убийцы, замызганной, вобравшей и впитавшей в себя столько всевозможной мерзости и грязи, вновь с неодолимой живостью пробуждалось испытанное сорок лет назад странное, необычное, непонятое — и оставшееся чужим — ощущение простоты и чистоты, и это не только подавляло, но и раздражало убийцу, потому что ему самому ни то, ни другое не были свойственны и теперь, через сорок лет, оставались столь же недостижимыми для него, как в тот день, в цыцмурском лесу, когда обе жертвы, мужчина и женщина, валялись окровавленные на земле, а изумленный и разъяренный его поведением Горожанин с нескрываемой насмешкой бросил ему: «Давай уж, ложись и ты сам между ними!», а он неотрывно глядел расширенными глазами на убитых, и душа его, как у впервые вошедшего в церковь ребенка, с блаженством, перерастающим в страх, с болезненной отрадой трепетала на грани мятежа и покорности.


А теперь по ночам, сразу после того, как гасили свет, спускался с потолка упырь со слюнявыми коровьими губами и до утра сосал его застывшую, густеющую кровь. А он, с пересохшим, воспаленным ртом, отчаянно метался и тосковал без надежды на помощь до тех пор, пока из самого темного угла не выходила и не направлялась медленно к нему супруга убитого, его



жертва, отпустительница убийц, с растрепанными волосами, разодранным воротом и лицом, разбитым ружейным прикладом, — направлялась к нему, приближалась и прикладывала, печально улыбаясь, прохладную руку к его пылающему лбу со словами: «Не бойся, сейчас пройдет, сейчас почувствуешь облегчение», — и спокойное лицо ее светилось добротой, хоть и было ужасающе истерзано и изранено, а из незакрывшихся ран не переставая сочилась кровь, и как она ни была осторожна, хоть капля крови скатывалась в стакан с водой, поданный убийце. От одной этой капли вода в стакане сразу становилась мутной, сама же капля вытягивалась, разветвлялась, и ветви ее, подобно водорослям, слегка колебались на дне стакана. «Из-за нас вам всем приходится пить кровавую воду», — огорчалась супруга жертвы, извинялась перед убийцей, а убийца извивался, как змея, на засаленных, пропотевших лохмотьях — густая от крови вода застрекала у него в гортани, не проходила в горло. «Задыхаюсь! — хрипел он с выкаченными глазами. — Задыхаюсь, воздуху, чтоб вам всем...» — Так хрипел он, охваченный страхом смерти, и отчаянно, потерянно хватался, цеплялся за душный, зловонный мрак. Но немного погодя, уже очнувшись и придя в себя, коленопреклоненный среди свалившихся с него червей, он жарко, истоиво молился, хотя в молитвах, как и в песнях, ничего не смыслил, — не то что молиться, а и преклонить колени не умел толком, стоял, подогнув ноги, скособочась, как колченогий стул, и подпираясь одной рукой, другою же вцепившись в замызганный, истрепанный ворот рубахи, и скороговоркой, не задумываясь над смыслом, бубнил раз навсегда затверженные слова, почти не связывая их друг с другом, словно молитва была способом и случаем громко, во всеуслышание объявить то, что он всю жизнь скрывал в глубине души: «Я свое все равно получу, не думайте, что избавились от меня, что я испугался, всех вас пушу вперед себя по одной и той же дорожке, видит Бог, может, и еще многим придется распрощаться с этим миром за то, что дурачили меня, Господи, Господи, великий Илья».

Гогия не раз приводилось подслушать его «молитву», и не раз мороз продирает его по коже и волосы





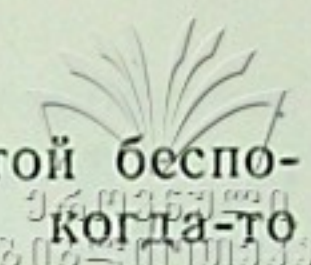
вставали дыбом; и однако все же как-то приятно было ему смотреть на этого, чуть ли не заживо <sup>лицо</sup>щего, <sup>лицо</sup>покрытого зловонными лохмотьями человека, озлобленного на весь мир и с пеной на губах, как у эпилептика, ругавшего на чем свет стоит несправедливый и бессовестный мир, слепоту и глухоту власть имущих. Он вообще отвернулся от жизни и все те несколько лет, которые прожил у сестры, ничего, кроме заплесневевшего хлеба и простой воды, не брал в рот, не мылся, не расчесывал волос и не обрезал ногтей, и даже более того, не спал в постели, а укладывался на полу у стены, как бездомный бродяга. Был у него кусок войлока, затасканный, Бог весть какого возраста — он то подстилал эту полость под себя, то покрывался ею. А подушкой ему служила уже порядком обтрепанная, обвязанная бечевкой папка. Эту папку он развязывал, самое меньшее, десять раз на дню, выкладывал и пере-  
кладывал ее содержимое, — а по ночам, как только ронял на нее голову, поднимались оттуда роем, словно осы из разоренного гнезда, всевозможные жуткие, кошмарные видения. Тщетно уговаривала его сестра и упрашивал зять — никак не смогли отучить его спать на полу. Наконец они отступились, предоставили его своей воле, и скоро это его чуть ли не силой обретенное место пропахло трупным духом, засалилось и покрылось темными, грязными пятнами. Порой он целую неделю не поднимался с пола, даже по самому неотложному делу, — лежал угрюмый, насупленный, обуреваемый какими-то хмурыми мыслями, покрытый копошащимися белыми червями. Не оттого тосковал он, что убил когда-то человека, нет — оттого, что не получил обещанной платы за убийство, было оскорблено его честолюбие. За минувшие сорок лет он, наверное, сполна заплатил бы за свой грех, давно уже отбыл бы положенное ему наказание и так или иначе, а вернулся бы к жизни; но так, обманутым, обведенным вокруг пальца, одураченным, он не мог принять жизнь, обрести вкус и охоту к ней — так что погубил его не совершенный им тяжкий грех, а обещанная награда; и не искупить свой грех старался он всю жизнь, а получить обещанную награду; не грех, совершенный для награды, мучил его, а награда, обещанная за грех. Порой, если с него сва-



ливался червяк, он поднимал его, снова сажал на себя — все так же насулленный, все такой же угрюмый, все так же обуреваемый своими мыслями. Во всем доме стоял такой тошнотворный запах, что прохожие на улице, оказавшись поблизости, зажимали носы. А соседи вообще перестали заглядывать к ним — ни за помощью по хозяйству, ни по какой-либо иной, более важной надобности.

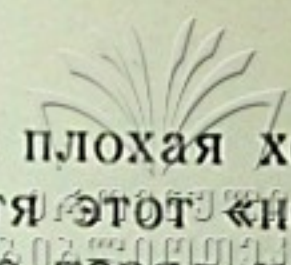
А между тем могучее и непрестанное течение времени неуклонно меняло облик мира, меняло человеческий нрав, соответственно преобразовывало старые взгляды и представления, прежние зависимости и взаимоотношения — и убийца, хоть и оказавшийся вне жизни, но все же подвластный течению времени, чувствовал — и это было горько, тревожно, унижительно, — что лишь он один считал себя достойным воздаяния, — только сам не мог, не умел выразить в цифрах то, чего, по его мнению, был достоин; а между тем испытывал всепоглощающее (особенно сейчас, на закате жизни) желание увидеть выраженной именно цифрами свою заслугу, и порой, когда жажда эта становилась непреодолимой, он затевал разговор с сестрой — вернее, искушал сестру, расстревал ее, вовлекал в несбыточные мечтания, заставлял ее строить тысячи нелепых, бредовых планов и вместе с нею, задыхаясь и обливаясь потом, с колотящимся сердцем стремился вверх по нескончаемой лестнице башни грез, — но при виде остервенело горящих глаз и перекошенного от жадности, раскрытого рта сестры вновь обжигали его застрявшие где-то в глубине сердца, затаившиеся на самом дне души старинные, уже окостеневшие злоба и ярость. Кончилось тем, что он уже не хотел разговаривать ни с кем, даже с сестрой. Лежал на полу, с лицом чернее тучи и остановившимся взглядом, со щеками, влажными от вечно течащихся слез, и разве что изредка, неожиданно хватал за подол ее же, свою сестру, чтобы прорычать снизу, как собака: — «Не спущу, знай, отплачу полной мерой тем, кто нас одурачил.» Сестре давно уже до смерти надоели эти «неожиданные», но бессильные и ни к чему не ведущие вспышки и вылазки, и она грубо вырывала у него из рук свое платье со словами: «Не до тебя мне, отстань!» Она была сердита на брата, не могла





простить ему этих зловонных лохмотьев и этой беспомощности — ему, единственному, кем она когда-то гордилась. Больше ни из-за кого никогда не испытывала она чувства гордости. «А ну, скажи, может ли статья, чтобы милиционер, вроде тебя, сумел схватить такого разбойника, как мой брат?» — подбоченясь и презрительно улыбаясь, говорила она мужу; и на мужа, и на сына она глядела свысока, потому что была сестрой не какого-нибудь там проходимца, а опасного государственного преступника. Власти днем и ночью гонялись за ним, сам черт не мог бы выследить его пути-дороги, но для сестры он был всегда большой силой, опорой, надеждой — кто бы осмелился хоть чем-нибудь ее обидеть из страха перед таким отчаянным головорезом, каким был ее брат. Но когда этот брат, предмет гордости и похвальбы, постучался к ней в дверь, взглянул глазами загнанного зверя и попросил ненадолго пристанища, ей это вовсе не понравилось; чутье подсказывало ей, что дела у ее братца, видимо, совсем плохи, раз ему негде больше искать укрытия, кроме как у сестры. Впрочем, когда брат признался ей, что он убийца Ильи Чавчавадзе и ждет за это большой платы, она снова, хоть и ненадолго, исполнилась почтения и робости перед ним и старалась только, чтобы этот секрет не дошел до ушей ее мужа, который, конечно, донес бы куда следует, — но понемногу жизнь заставила ее взглянуть правде в лицо и признать, что брат был уже ни на что не годен, что он попросту уже не существовал, что не осталось от него ничего, кроме тошнотворного запаха и засаленного тряпья в клейких пятнах, а значит, теперь уже было все равно, не имело никакого значения, был ли он в самом деле убийцей Ильи Чавчавадзе, или выдумал все это, чтобы сохранить доброе отношение сестры. Более того — не имело уже никакого значения, заслуживал ли он награды или был достоин наказания, потому что не годился уже ни для принятия первой, ни для несения второго. Поэтому все последнее время, до того, как зять с шурином вместе отправились в милицию, чтобы заявить о преступлении сорокалетней давности, она разве что изредка, и то случайно, с притворным, деланным сочувствием бросала взгляд на заживо гнию-





щего брата, а порой смотрела на него, как плохая хозяйка — на невыметенную кучу мусора, хотя этот «невынесенный мусор» до последней минуты не терял надежды и, как испорченный механизм, уже сам собой быть может, даже помимо своей воли повторял одно и то же: «Вот увидите, придет время и оценят меня по заслугам». Ну, вот — и оценили. Даже того не знает сестра, где его закопали в землю, если вообще удостоили похорон. Сорок лет жил он, затаившись, как мышь, набрав воды в рот, — а потом, через сорок лет, без всяких бумаг, документов, без свидетелей потребовал то, что заслужил чуть ли не полвека тому назад. Кто бы ему стал платить? Но страх отшиб у него мозги, и страх заставил его наконец выползти из норки — хотя, по правде говоря, вина была не полностью на нем: «светлой памяти покойник» оказался в конечном счете и у этих своим человеком. Сперва твердили, что всякий князь враг, а потом князь-то и оказался заслуживающим самого высокого почета, защитником униженных и покровителем угнетенных. Но был ли на свете хоть кто-нибудь, более униженный и угнетенный, чем его убийца? Нет, не суждена была ему, убийце, удача, родился он под несчастливой звездой, так же, как его сестра, над обоими, видимо, тяготело проклятье, и поэтому сестре, как и брату, не следовало ждать от жизни ничего хорошего. Во всяком случае, она должна была всячески проверить, тысячу раз измерить и взвесить неожиданно родившуюся на городской площади, среди пестрого людского моря, надежду, и лишь после того поверить в нее. Она еле дотащила домой — так, словно волокла за собой сеть, полную улова; впрочем неопределенность не уступала тяжестью никакой полной сети. Поэтому ей следовало как можно скорее выяснить главное: снова ли, как прежде, собиралась судьба ее обвести вокруг пальца, или хоть на этот раз можно было попытаться урвать у судьбы копейку-другую. Она еще не видела мужа, не успела поговорить с ним, но от мужа она немного рассчитывала узнать, во всяком случае, муж скорее мог обрезать крылья этому нежданно вылупившемуся птенцу ее старой, замшелой мечты, нежели помочь ему их расправить. А сын сам был растерян, непрестанно, словно дурачок, улыбался и рассказывал



каждому историю своего сегодняшнего героизма. А сигналам сплетникам только этого и было надо, слетелись, облепили его, как мухи забытое на прилавке мясо, в сотый раз заставляли его расказывать одно и то же и то будто бы дивились его крепкому духу, его молодечеству, то притворно отказывались поверить — дескать, не могло так быть, кто ж тебе, именно тебе, дал бы убить разбойника, когда все сигнальские вооруженные силы были там, вместе с тобой. А он, легко попавшись на удочку насмешников, лез из кожи вон, чтобы рассеять «сомнения» слушателей и как можно явственнее, со всеми подробностями нарисовать картину того, что произошло у старой церкви: нацеливал указательный палец здоровой руки в слушателей, большой палец ставил торчком, как курок, и — «Фи-у-у-, фи-у-у», — войдя в роль, воспроизводил свист пуль — пока, наконец, мать чуть ли не в толчки не увела его домой.

Сейчас он лежал на тахте, бок о бок с ружьем, и не спал, как думала его мать, а тщетно пытался заснуть. Перенесенные за день страх и волнение брали свое, стоило ему закрыть глаза, как тотчас же проявлялся перед ним разбойник, — бежал навстречу со всех ног, испугнутый милицейскими, а он путался с ремнем, руки его не слушались и никак не вскинуть было ружье. Разбойник, в распахнутом пальто, с перекошенным лицом, все бежал, бежал, приближался с каждым мгновением и вот-вот, казалось, схватится за дуло его ружья. А у него холодный пот струился по лбу, он был потрясен, ошеломлен этим странным, фантастическим видением, его неправдой — а скорее порожденным им безосновательным страхом — могло ведь случиться, что он действительно не успел бы вскинуть ружье и выстрелить... А между тем, в такую минуту, как говорил ему дядя, промедлить — значит, оказывается, погибнуть; если дрогнешь, замешкаешься хоть на секунду, взглянешь в глаза жертве, — пропало твое дело. А дяде можно было поверить, тот все это изведаль сам, испытал на себе самом, — и Гогия невольно посмотрел туда, где в углу, у стены, лежал когда-то его дядя. Прежний, знакомый запах, казалось, ударил ему в нос, и впервые в жизни на мгновение овладело им

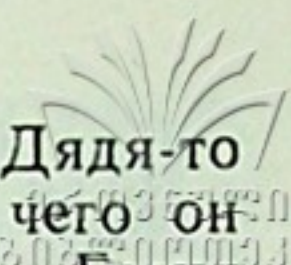


как будто бы даже сочувствие или жалость к своему дяде, чувство мимолетное, без корней в душе, тусклое, неясное, но не менее тревожное по своей неожиданности, чем недавнее видение. «Отвори дверь, тут задохнуться можно», — крикнул он матери, — глаза его были полны слез от дыма; и тут же усмехнулся в душе — откроешь дверь, выстудишь комнату, попробуй ее потом прогреть! Дым ел ему глаза, но лучше уж было потерпеть, ради тепла. По счастью, мать не обратила внимания на его слова. То ли она была сердита на сына, то ли задремала перед печкой. Между прочим, дым, наверно, и ее беспокоил, но она предпочитала кашлять и точить слезы в тепле, чем стучать зубами от холода. Гогия хотел было спросить, не вернулся ли отец, но передумал, так как на самом деле его совсем не интересовало, где тот сейчас — обряжает ли труп разбойника в милицейском подвале, или дежурит на площади в этом светопреставлении.

Он снова закрыл глаза и опять увидел разбойника, бегущего к нему со всех ног, задыхаясь, держась за сердце — на карту гористой местности похоже было его лицо. А Гогия все не мог вскинуть ружье — мешал ему ремень и не слушались руки. — «Не гляди ему в глаза, сразу стреляй», — подсказывал ему дядя, прикрыв рот рукой, распаленный воображаемой величественной картиной, которая должна была последовать за громовым выстрелом ружья Гогия. Сам дядя однажды уже пережил такое и, разумеется, хотел, чтобы и другие это испытали — в первую очередь свои, близкие. «В глаза не гляди! Только в глаза не гляди!» — предостерегал он племянника с тихим волнением, со сдержанным нетерпением, как мертвый — живого, или как бывалый, опытный человек — новичка. И при этом прикрывал рот рукой, чтобы слышал его только Гогия, но не разбойник — иначе тот мог бы потом придрататься к дяде: дескать, убили меня потому, что ты помог, а не подучи ты, черта бы со мной справился этот сопляк, твой племянник. Поэтому ни в коем случае не должен был разбойник догадаться о том, как тяжело Гогия, иначе тот мог бы и осрамиться.

А разбойник приближается с каждой минутой, бежит навстречу с грозным, гневным лицом. — «Не слу-





шай своего дядю! — кричит он издалека. — Дядя-то сам остался в дураках, вот и тебя дурачит, чего он добился, и ты того же добьешься». Достаточно Гогия открыть глаза, как видение исчезнет, но он уже привык, и ему даже каким-то образом приятно состояние этого беспочвенного, сновидением рожденного страха. Вместо того чтобы раскрыть глаза, он еще крепче зажмуривает их, продлевает смешанное чувство удовольствия и страха, как впервые в жизни вставший на качели ребенок, у которого захватывает дух от полета, слезятся глаза, от страха — ощущение легкости и пустоты внутри, и в то же время все тело охвачено дрожью несказанного блаженства, и он никак не может решить, страху или блаженству полностью отдаться. Так и с Гогия. Только он, в отличие от впервые качающегося на качелях ребенка, знает заранее, чем закончится его «полет», и во всяком случае, страх его поистине не имеет почвы под собой, потому что никак не могло все случиться в действительности так, как происходит во сне. Во-первых, каково бы ни было его замешательство, он никогда не стал бы держать ружье задом наперед, как это ему мерещится сейчас, и как бы ни одеревенели у него руки, он все же сможет спустить курок. А сейчас, как ему грезится, он не способен даже зацепить спуск онемевшим пальцем. А разбойник бежит навстречу, рассыпая искры из глаз. Можно подумать, что ему не самому впору спасаться, а надо спасти Гогия, и он спешит на помощь, узнал как-то о Гогииной беде и бежит, чтобы повернуть ружье в Гогииных руках дулом вперед, чтобы заставить его согнуть онемевший палец... Гогия не успел тогда, наяву, рассмотреть лицо разбойника и сейчас тоже не может четко представить его себе, не знает, как выглядит разбойник, вернее, как он выглядел в действительной жизни. А дядя Гогия помнил лицо своей жертвы. «Я только на мгновение взглянул — и оно запало мне в память навсегда — словно я его и раньше видел, или словно, никогда не видевши, знал от рождения, какое оно», — говорил он бывало с перераставшей в сожаление гордостью. Возможно, он немного и преувеличивал, набавлял цены своей «охотничьей добыче», но лицо действительно помнил, и среди тысячи пор-





третов и изображений всегда безошибочно находил его, свою жертву — да и засаленная, обтрепанная его шапка была ведь набита изображениями убитого, хотя от времени все эти портреты так выцвели и полиняли, что нельзя было ничего и разобрать, если не знать предварительно, кто на них запечатлен... Разбойник уже близко, вот-вот схватится за дуло его ружья. Вот тогда увидите, как будет торжествовать Гогина мать! Услышите, узнаете, как иные умеют насмехаться! Изведет Гогия — «Эх ты, весь в отца», — и никуда не спрячешься. И дядя всполошился — «Что это с тобой, ты, навозный жук?» — кричит он Гогия изумленно. — «Смотри, не попади в кость, не то никому не сможешь сбыть искрошенный скелет», — смеется Араминдара. А Гогия явственно чувствует на шее, под затылком, горячее и клейкое дыхание кобылы. «Тысячу рублей проворонишь, смотри!» — напоминает Грдзело. Но уже поздно, нет времени даже прицелиться, — и Гогия во второй раз, уже во сне, спустил сразу вместе оба курка и даже увидел, как вылетела смерть с занесенной косой одновременно из обоих стволов. Ушибленную руку он невольно крепче прижал к груди, чтобы снова ее не повредить. А издырявленный, как решето, разбойник замер на месте с раскинутыми руками, в пробойнах от пуль гуляет ветер. Он умирает. Умер. Мертв. Его больше нет. Опредил его все же Гогия. Взял верх. А говорите, не способен убить человека навозный жук? Почему бы ему не быть способным? Такое ли уже трудное дело? Чем Гогия хуже любого другого? До того, как пришло время, и дядя не знал, сможет ли он убить. А когда понадобилось, смог, сумел. Так что... Так что, если представится случай, каждый сможет. Не так это трудно, как воображают. Сущие, оказывается, пустяки. Нужно только спустить курок, остальное сделает само ружье. (Гогия бережно, несмело погладил одной рукой приятно прохладный ствол ружья, как уставшую от ласк и сладко уснувшую рядом с ним возлюбленную, а то и жену). Тебе, собственно, и дела никакого как будто бы нет до того человека, кого надо убить, — ружье само с ним управится, — а потом Несва и Араминдара подхватят его, раскачают в воздухе и перекинут, как переметную суму, через седло пердучей кобылы.—



«Понял? Смекнул?» — слышит он дрожащий от волнения голос взволнованного дяди. И взгляд Гогия невольно снова приковывается к тому углу, где тот провел последние годы, но ничего там не может различить — лишь чуть разжиженный отсветом печного огня мрак клубится там, клубится, ходит ходуном, волнуется, пестреет черно-белыми тенями, как куча живых червей.

Но нет, видит Бог — Гогия полностью не удовлетворен, что-то его тяготит, гнетет его душу, что-то отравляет ему сладость победы. Быть может, неприятно ему то, что этот батумский парень, Нико, видел, как он сдернул с пальца убитого кольцо? Возможно. Впрочем, одно это не может быть причиной его непонятной, неясной горечи, в конце концов, кому какое дело, что он сделает со своим мертвецом: хочет — сдернет с его пальца кольцо, а хочет — снимет с него штаны; но когда Нико крикнул ему из кустов: «Убийца!», ему это было неприятно, его это обидело. Словно Нико возводил на него поклеп, и словно он, Гогия, не оскорбился бы, не рассердился бы гораздо сильнее, если бы Нико сказал наоборот, приписал бы кому-нибудь другому Гогину заслугу. Словом, он еще сам до конца не разобрался, радует или огорчает его сегодняшний успех, доволен он судьбой или недоволен, но этого он так никогда и не сможет уяснить себе, потому что ему не хватит ни ума, ни опыта. И мать еще ничего не сказала. Ну, а сам он, сообразно со своим умом и своим опытом, поступил именно так, как должен был поступить. Что же касается несколько неприятного чувства, которое осталось у него после этого поступка, то ощущение это следует отнести к числу таких, как, скажем, голод, сытость, жажда, холод и тому подобные, ощущений обыкновенных, хотя с ними, конечно, необходимо считаться. Просто он еще не очнулся, не сбросил с себя сонную одурь, он еще под впечатлением этого странного, волнующего видения, и не может решить, встать или вернуться к своим грезам.

— Вставай, хватит спать, что же ты ночью будешь делать? — зовет его мать со своей скамеечки перед печкой.

— Да уже ночь, темней не станет, — улыбается Гогия и садится на тахте. Здоровой рукой он опирается



о край тахты, а другую, наскоро перевязанную, по-прежнему бережно прижимает к груди, как девочка из бедной семьи — единственную куклу.

Но стоит ему перейти из лежачего положения в сидячее, как им овладевает лютый голод, готов взвыть волком пустой желудок. — «Где твой муж ходит до сих пор?» — желчно, сердито бросает он матери, так, как будто у них уже накрыт стол и они дожидаются лишь главы семьи, чтобы сесть за ужин.

— Что ты накинулся на меня сегодня? Откуда мне знать, где он торчит до поздней ночи? Да ты же вместе с ним был весь день! — выходит из себя и его мать, но и не думает встать, так и остается сидеть перед печкой.

Котелок на печке давно уже кипит, бурлит, но похоже, что камень варит в нем мать, — так она обычно любит говорить: «Камень вам сегодня сварю на обед». Она тоже, как ее покойный брат, обижена на весь мир, уверена, что кто-то бессовестно, беспардонно одурачил их обоих, и сестру и брата: сестре подсунул никчемного мужа, какого-то размазню положил к ней в постель, — когда самые лучшие парни, орлы готовы были из-за нее наброситься с кинжалами друг на друга; а брата отправили на виселицу, чтобы присвоить себе то, что он по чести заслужил.

— Сегодня весь день у меня куска во рту не было... До самой ночи, — брюзжит Гогия, надувшись.

Мать не отвечает. Они в одной комнате, но они не вместе. Не могут спеться, сладиться — каждый думает и говорит про свое.

— Встань, хоть лампу зажги, долго мы будем сидеть так, в темноте? — сердится Гогия. Мать медленно, неохотно поднимается с места, подходит к столу, чем-то шуршит, скребет, как мышь, в темноте, и через некоторое время в комнате постепенно становится светло. Тускло поблескивает ружье, покоящееся на тахте. На столе, около лампы, валяется нож с деревянным черенком и почерневшим лезвием, — видимо, им снимают нагар с фитиля в лампе.

— До коих пор нам так перебиваться? — говорит вдруг мать. — Ты помнишь, чем все с твоим дядей кончилось? — частит она возбужденно, торопливо. —



Ты отогрей хлеб на печке, а я поднимусь к жильцу, пусть он нам прошение напишет... — говорит она уже в дверях.

— Прощение? Какое прошение? — недоумевают Гогия.

— Может, нам правда что-нибудь причитается... Зачем же от своего отказываться! — кричит раздосадованная недогадливостью сына мать. И в самом деле — какое еще у нее может быть дело к жильцу среди ночи?

— Почему я знаю? — пожимает плечами Гогия.

— А я знаю! — отрезает мать и в раздражении, поправляя платье и платок на голове, уходит.

Гогия тотчас же забывает о ней. Он выбрасывает вверх здоровую руку (другую, ушибленную, он бережет, как зеницу ока) и, потянувшись до хруста, зевает. — «Раз, два, три», — отсчитывает он и по-военному быстро и решительно вскакивает с лежанки, направляется к темнеющему в углу ведру, присаживается на корточки и долго, упорно смотрит на воду — словно хочет сквозь затуманенную, грязную ее поверхность высмотреть что-то на дне ведра. Потом нерешительно, осторожно сует пальцы здоровой руки в воду и сразу, так же по-военному, вскакивает на ноги. Он проводит мокрыми пальцами по глазам, потом за ушами — и вот уже готов, теперь ему ничего больше не нужно, кроме еды. Но как поесть, когда ничего нет? Он должен сперва обрести, а потом уже вкусить насущный хлеб. Он достает из стенного шкафа двумя пальцами, словно гнушась, черствый продолговатый хлеб, отмачивает его в том же ведре и, прежде чем положить на раскаленную печку, несколько раз встряхивает. Капли воды, брызнувшие на печку, «взрываются» с шипением и оставляют белые пятнышки на темной горячей жести.

Тем временем возвращается и мать Гогия. Разозленная, трясясь от бешенства, она распахивает дверь и кричит с самого порога:

— Вот вам и ваш учитель! Не умею, говорит, писать такие прошения. Если вы убили, мол, человека, так вам впору не денег просить, а каяться. Чтоб его больше глаза мои не видели!

— Не забудь, что он платит тебе за квартиру, — ухмыляется Гогия.



— Ах ты, Боже мой! Что вы говорите! Что бы со мной случилось, если б его не было! Не знаю, в какой банк вносить деньги. Да и какой банк столько примет! Ночи напролет сижу и считаю, сосчитать не могу, — брюзжит она, надув губы и насупившись. — Да он задолжал мне за четыре месяца. Ты мне должен за четыре месяца! — кричит она в потолок, закинув голову.

— А лимоны ты у него крадешь — это дело? Почему ты этого не засчитываешь? — подзуживает ее Гогия.

— Тьфу! — еще пуще перекашивается лицо у его матери. — Я лимона в рот не возьму ни за какие деньги. Ни мяса, ни сладости — одна кислая вода. Покойницкие фрукты!

— Хоть бы прихватила один-другой, раз уж ты там была! — Рот у Гогия наполняется слюной.

— Кто тебе сказал, что не прихватила? Вот, твой любезный жилец преподнес, — говорит мать и шарит в оттопыренном кармане передника, пытается достать лимон, но ей мешает женский лифчик, который она запихнула сверху. И она извлекает сначала розовый бюстгальтер, а потом уже — лимон.

— Преподнес или ты украла? — испытующе щурится Гогия.

— Украла, — сразу сознается мать. — Сорвала с дерева, когда он отвернулся на минуту. На, держи! — Она бросает лимон Гогия, а лифчик держит смятым в кулаке.

— А это что, мама? — спрашивает удивленно Гогия, ловко поймав здоровой рукой брошенный плод. — С себя там сняла?

— Да ну тебя! — улыбается мать. — Сусанна оставила, хочет обменять на что-нибудь.

— Да что ты, мать, эта штука на одну грудь у Сусанны не налезет, — осклабясь, замечает Гогия и откусывает от лимона. — Хорошо! До самого нутра проникает! — едва выговаривает он, морщась.

— Ты себе лишнее не позволяй! — распаляется его мать. — Чего язык распустил? Какое тебе дело до Сусаннинных грудей? Ежели ты такой молодец, а ну, докажи нам, что в самом деле убил человека. Болтать легко. И свистеть «фи-у-у, фи-у-у» тоже. Если бы ты



человека убил, разве тебе ничего бы за это не дали? Или хоть ничего не сказали бы? Что ты на меня уставился, разве я не правду говорю? Вон, кто-то волка задалвил, так и деньгами наградили, и еще в газете печатали. Эх, пусть сгорит, кто нашу долю определил, кто нас обездолил. Видно, так на роду нам написано, всей нашей породе... Такое на нас заклятье. Но ты-то хоть не дай себя жизни в обиду. Скажи им, что не хочешь ждать. Вон, скажи, до чего довело моего дядю ожидание. Завтра же, по горячим следам, ступай и заяви, куда полагается. Если даже придется поехать — поеду, и своего добыю, того, что мое, никому не уступлю. Наш жилец чего-то там несет, разоряется по своему обычаю — дескать, такого закона вообще нет, и разбойника того не твой сын убил, а он ликвидирован, или как там еще, какая-то чертовщина, в силу, дескать, закона и именем закона органами милиции. Ты слышишь? Слышите, люди?! Ничего вам, говорит, не полагается. Пусть не наступит для него завтрашний день — именем закона! В силу закона! Нет, нет, мы тоже кое-что смыслим, зачем вы нас с толку сбиваете? Раз вы там учителя да педагоги, так значит никто больше ничего и не стоит? Мы тоже не в буйволином брюхе сидим. Простаков у себя поищите! — снова кричит она, закинув голову в потолок, так, чтобы слышно было жильцу. — Хватит вам и мужа моего в шуты да в дурачки! Кому-то там за паршивого волка — премию, а мы человека убили, и нам ничего за это? Попросту, чтобы нам не дать, а самим прикарманить? Э, нет, не выйдет! Куска вам до тех пор не проглотить! Нет, не-ет, того, что мне причитается, — никому не уступлю. Подавиться вам и тем, что уже присвоили! Ты отца своего не слушай, сынок, — вдруг оборачивается она к Гогия в непритворном волнении, с искренним возмущением. — Он всегда был недотепой, слюнтяем, оттого и состарился так, ничего не добившись, в своей милиции. Даже в сержанты, или как там оно называется, его произвели из жалости, постеснялись его возраста. Да и в милицию загнало его одно кисляйство — укрылся там, чтобы его не лупили по голове все, кому не лень. Решил — раз наденет милицейскую фуражку, его и пьяный остережется, и пес не облает. Так нет — и пья-



ного боится, и собаки. На чьей-нибудь памяти он хоть раз оказался таким молодцом, чтобы задержать преступника? Мало того, целых пять лет убийцу прятал у себя в доме — ну и что ж, что не знал, какой же он милицейский, если не ведал, что у него самого в доме творится? — Она то и дело в волнении вытирает дрожащей рукой губы, словно очищая место для новых, еще более язвительных, бьющих в самое больное место слов. — Однажды... До сих пор, как вспомню, смех меня разбирает! — впрочем, на лице у нее не заметно и следов смеха, лицо у нее перекошено от злости. — Однажды он арестовал какую-то полоумную женщину из Вакири: она стояла посередине площади и ругала на чем свет стоит председателя исполкома. Ну, сумасшедшая и есть сумасшедшая. Что ей еще делать, если и это запретите? Вот и все, на этом и кончились все его милицейские подвиги. Да и ту дуру пришлось отпустить, сама же милиция заставила, знаем, мол, мы эту женщину, что ты ее привел, здесь ведь не сумасшедший дом. Хо, хо, хо, — смеется она деланным смехом. — А женщина эта, там же, перед самой милицией...

— Постой, помолчи минуту, хлеб у меня сгорел под твою болтовню! — вскрикивает вдруг Гогия, неловко хватая с печки одной рукой дымящийся хлеб и швыряет его на стол — так, словно выбросил из реки на берег пойманную рыбу. По комнате разносится запах горячего хлеба. Нижняя корочка на нем местами обуглилась. Гогия разламывает хлеб пополам, над разломом поднимается пар, и в нем мерещится Гогия бегущий к нему разбойник. Но всего лишь на мгновение. «Хочешь?» — спрашивает он мать. Та делает рукой отрицательный жест и продолжает:

— ...Там же, перед милицией, задрала юбку и показала ему задницу: вот, мол, как ты меня арестуешь! Не скоро в городе забыли эту историю, — а мне все то время на улицу выглянуть было стыдно. Дай только людям о чем посудачить, — они тебе что угодно и так повернут, и этак. Лишь бы унижить тебя как-нибудь, лишь бы уколоть побольнее — за это черту душу продадут. Чего только мне не пришлось вынести в замужестве за твоим отцом! — жалуется она сыну в надежде на сочувствие. А сын угощается лимоном и го-



рячим хлебом. Он держит лимон и кусок хлеба в одной руке и откусывает то от одного, то от другого. — Так как же это было, кричали мне со всех сторон, — продолжала его мать. — Расскажи, мол, как задрала платье перед твоим мужем эта полоумная баба? А вот так, отвечала я, — она пригибается и хлопает себя по заду обеими руками. — Вот так это было, отвечала я и смеялась для виду, притворялась, что мне смешно, чтобы не порадовать врага и недоброжелателя. А уж как меня при этом душила злость, сердце было готово разорваться! Пусть лопнет сердце у всякого недруга моего, у того, кто меня проклиняет! Женщина мужем должна гордиться...

— Посмотрите-ка на моего отца! — смеется Гогия и выплевывает разжеванную лимонную шкурку.

— Ты не знаешь, какой огонь жжет мою грудь! — продолжает обрадованная вниманием сына мать. — Нет хуже наказания для женщины, чем быть женой рохли да размазни. Нет, я не женщиной должна была родиться! — бьет себя она в грудь кулаком наотмашь, со злостью, точно вправду хочет причинить себе боль. — С утра до вечера торчать на площади, точить лясы с приказчиками да с цирюльниками легко. А твое дело — забота о семье, о доме, чтобы на голову не обвалился.

— Отцу-то моему горя мало, — подливает масла в огонь Гогия. Он уже прикончил лимон и половину хлеба, немного утихомирил голодную утробу и с большей охотой поддерживает разговор, то есть чаще старается поддеть мать, раздражить ее, раззадорить, разговаривать так, чтобы у нее все, что придет на ум, срывалось с языка. Но мать вовсе не боится его подвохов, она сама рада попасться на удочку, с удовольствием заглатывает приманку, и если не быть с нею осторожным, непременно затащит ловца вместе с его удочками в омут. Впрочем, сейчас все, что говорит ее сын, ей не кажется достойным внимания, и она продолжает с такими же страстью и волнением:

— Хоть камень, а надо, чтобы варился в котелке назло соседям. Но много ли ты себе можешь позволить? Все куриное богатство — яйцо, хоть так поверни его, хоть этак. Спросить вас, нынешних, так во всем



мать виновата, мы весь мир загубили. Но мне ведь для себя ничего не нужно! Берите, пользуйтесь, для вас все... Твой отец вечно твердит, что самое большое богатство это честность, а сокровища сверх того нет ни у Бога, ни у человека. Но если человек беден, так и честности его невелика цена. Кому какое дело до нее, кому она нужна—будь ты хоть честней честного! Люди! Эй вы, люди! — кричит она громко, словно на весь город. — Да мне один рваный рубль дороже всей вашей пустопорожней честности! А мой простофиля муж все чужую честность сторожит, бегаёт по пятам за каждым встречным и поперечным, чтобы не дать ему сбиться с пути. В позапрошлом году... Хорошо, что вспомнила, — хихикает она, прикрыв рот ладонью. — В позапрошлом году он схватил этого непутевого... Как его зовут... Ну, вот, который тебя сегодня убийцей обозвал, или что-то там вроде... Он, оказывается, фокусы товарищам показывал, — чему еще он мог научиться среди своей матросни, — а мой безмозглый муж пристал к ним, будто они играют в карты на деньги, и никак иначе. Да хоть бы они и на деньги играли, кому какое дело? Не чужие ведь деньги просаживают! Вон, Ушанги Чучулашвили жену в карты проиграл, а все человеком остался, слова худого ни от кого не стерпит, умеет и добыть, и потратить. Хорошо, что отец твой вовремя догадался, отстал от тех ребят. А то бы сказали ему, что ты на детей напустился, это ты только против детишек молодец. Сказали бы и были бы правы, и стали бы люди теперь из-за этого над нами смеяться, дескать, вон как за честность борется этот Георгий Упарашвили, ловит детей задолго до того, как они того заслужат...

— Мать, а человека убить моему отцу не приходилось? — спрашивает вдруг Гогия.

— Убить? Да о чем я с тобой битый час говорю? — разводит руками его мать. — О чем я твержу? Что тебе по его следам ходить не расчет, — продолжает она так же взволнованно. — Немножко ведь ты и мой тоже! И не то, что немножко, а именно, прежде всего. Всякое дитя — материнское. Только мать знает, чье оно, от кого. Не давай людям про тебя говорить: в своего отца пошел. Вон, видишь — ты человека убил,



а тебе не верят. Это, мол, какая-то там ликвидация, выдумывает твой учитель. Давеча ты его отбрил как следовало, вот он и не может простить. Хочет тебе отплатить по своему разумению. От большого знания человек тоже, бывает, дуреет. Но сделать дело — это еще не все, этого мало. Дело и твой незадачливый дядя сделал. Надо еще, чтобы все поверили, что это правда твоя работа. Нельзя быть ни излишне честным, ни излишне стеснительным; люди должны говорить не сомневаясь: этот на такое способен, его рук дело. Всякий раз, как убьем человека — искать свидетелей? Да ведь не всегда сыщешь. И до каких пор ждать и терпеть? Пока черви нас живьем не съедят? Пока заживо не сгнием? Сколько можно смотреть кому попало в руки — не кинут ли нам из милости свои обноски? Да разве у Сусанны такие уж большие груди, ты, негодник! — мелькает улыбка на ее лице. — Сами стесняются, так я должна их обноски продавать, — продолжает она, снова распалась. — Я должна обменивать на кусок сахара или на щепотку соли их пожелтелое в пазухе исподнее или побитые молью рубашки. — Голос у нее срывается от бешенства, глаза наполняются слезами (наверное, из-за дыма), коварными, обманчивыми, опасными слезами. Она еще заставит кого-нибудь другого за эти свои слезы заплатить, другому в вину их поставит. Может быть, даже весь мир призовет к ответу, со всего мира захочет взыскать за свои фальшивые, послушливые слезы. Она снова вытаскивает из кармана передника розовый атласный лифчик — полшария у него вдавлены, и он выглядит из-за этого как-то неприятно. Она небрежно сминает лифчик в кулаке и вытирает им глаза — как бы невольно, безотчетно.

— Что ты делаешь, мать, жалко ведь, надень его лучше, — говорит ей Гогия.

Но матери вдруг становится весело от слов сына, она приходит в игривое настроение — берет лифчик осторожно за кончики, словно он чем-то испачкан, и кокетливо примеряет его к груди, будто заигрывая с сыном.

— Хи, хи, хи, чего только не найдешь у городских



женщин, — посмеивается она с озорным видом и крутит во все стороны грудью с прижатым лифчиком.

— Молодец, мать, люблю за это! — восклицает Гогия в восторге и вертит, играет в воздухе перевязанной рукой, словно на нее надета театральная кукла.

— Разрази тебя гром! — почему-то опять выходит из себя его мать, зажимает в кулаке розовый лифчик и продолжает возбужденно: — Мне ничего не нужно... Вот только все недосуг умереть, — она обращается к Гогия, но не смотрит в его сторону. — Все, что добудешь, на себя потрать, только добывай, не дай жизни себя задавить. Я ведь не сумасшедшая, не думай, я тоже умею хорошее от дурного отличить. Вон, этот жадина Гуло привез из Германии целый чемодан патефонных иголок, продает, наживается. Люди и на войне добытками остаются, и на войне о себе не забывают, каждый думает, если кто-то добыл рубль, я должен достать два. Вот как надо. Тащат, набирают со всех сторон, а мы теряем даже то, что нам причитается. Кто как умеет, так и должен жить. То ремесло хорошо, которое тебя прокормит. Бог дает, человек пользуется. Одни копят, другие крадут. А твой отец бродит по пустынной площади, боится, как бы Гитлер не воскрес и не прокрался в город. Как же, поймал он Гитлера, нашелся молодец, разрази его гром...

— Зачем ты пошла за моего отца, мать, если он был тебе так противен? Грех ведь на душу взяла, меня ведь не пожалела! Я-то чем виноват? — прерывает ее Гогия.

Перевязанная рука так и осталась вытянутой вбок, и если не знать, что с ней, можно с первого взгляда подумать, что Гогия и в самом деле держит куклу. А другой, здоровой рукой, он теребит нож с почерневшим лезвием и деревянным черенком — теребит, закручивает его волчком. Мать, прежде чем ответить, испытующе смотрит ему в глаза и, значительно улыбаясь, поправляет платок на голове; зажатый лифчик не умещается в кулаке — она теряет время, чтобы обдумать ответ, как будто никогда раньше обо всем этом не думала и так сразу, с ходу, ничего не может сказать; а заодно, разумеется, старается догадаться, какого ответа ждет от нее сын, на ее ли он стороне или расставляет ей



ловушку, заставляет ее говорить, говорить, чтобы она проговорила, сболтнула что-нибудь такое, к чему можно было бы прицепиться. В конце концов это ее сын, и ей лучше всех известна его коварная природа; несколько, ни на йоту нельзя на него положиться.

— Почему пошла? Да потому, что создал меня женщиной тот, кто виной моей недоле, — на этот раз она подразумевает Бога, а не жертву своего брата. — Женщина ведь, сынок, хуже, чем собака, и себе цены не знает, и в человеке не умеет разобраться, лишь бы ей выйти замуж, лишь бы не остаться в девках, лишь бы другая женщина не сказала: что за беда с ней, какой в ней изъян, почему никто замуж не берет. За это она хоть со змеею ляжет в постель, хоть с прокаженным. Ну, и притом... — она хитро улыбается, перед тем, как сказать о самом главном, набивает себе цену в глазах сына. — Было тут еще кое-что. Мой отец дал денег твоему отцу, надеюсь, ты понимаешь, о чем речь. Договорились они между собой, как мужчины. Пусть смерть им будет посредником! — (Гогия несколько растерян, что-то не получается потеха). — Ну, и я не противилась. Того, к кому лежала моя душа, уже не было на свете, он гнил в земле. Убили его в драке в Алаверди. Вот это был человек, мужчина, мог собой гордиться — и гордился! На князя был похож. Брови густые, с руку толщиной, и срослись на переносице. Как взглянет на тебя — темно, будто солнце затмилось. У меня ноги сразу слабели. Убили, погасили мой светильник. После этого мне уже было все равно, что за твоего отца, что за кого еще похуже...

— А от кого я у тебя, мать? От него или от моего отца? А, мать? Положа руку на сердце, — будто бы шутит Гогия, но ему уже не до шуток. Голос у него прерывается и глаза больше не блестят лукаво. Он сжимает в здоровой руке рукоятку ножа. Вон сколько чего еще, оказывается, у них в семье надо выяснить, установить, уточнить. В самом деле, что все это значит? Что получается? А получается, что он может оказаться и вовсе незаконным сыном какого-то «князя». Но недаром сказано, что иная беда не без пользы, — Гогия хоть узнает, кто он такой, что он такое, что собой представляет. — От кого же я у тебя, мать, спрашиваю, от него



или от моего отца, — повторяет он хрипло одно и то же, словно сразу позабыв все другие слова.

— Ни от того, ни от другого, — отвечает мать в некотором замешательстве и через минуту повторяет: — Ни от того, ни от другого.

— Так с кем же ты меня пригуляла?! — хрипит Гогия с перехваченным горлом.

Посмотрев на него сейчас, всякий скажет, что если он жаждет чего-нибудь в эту минуту, так это убить мать. И убьет, не дрогнет рука, не в первый раз, что говорить. Он сжимает рукоятку ножа с такой силой, что на руке у него вздуваются жилы. Мать смущена. Похоже, что переборщила. Собственно, она не думала, что у ее отпрыска хватит духа разгневаться, что он так изумится и, главное, что его так уязвит, покажется так оскорбительно быть незаконнорожденным.

— Чей я пригульный сын, спрашиваю, почему из тебя слова вытянуть нельзя? К лошадиному хвосту бы тебя привязать! — хрипит Гогия.

— Поглядел бы ты на себя в зеркало, на что ты похож! — хихикает мать и размахивает перед ним розовым лифчиком, словно еще недостаточно его раздражила.

— Ма-а-ать... Потаскуха!.. — хрипит Гогия так, как будто его душат.

В руке у него нож с деревянным черенком и почернелым лезвием. А мать смеется, хихикает — деланно, неприятно. И размахивает перед самым его носом чьим-то лифчиком, еще пуще дразнит его, вызывает на ссору, на бой, словно хочет проверить, мог ли ее сын убить человека, причитается ли им награда.

— Эх ты, весь в своего отца, — смеется, насмехается она.

— Скажи, от кого я, мать, пока я тебя не прикончил! — хрипит Гогия и отбивается ножом от лифчика, развевающегося перед его носом, но рассекает лишь воздух — мать проворнее, ловчее и каждый раз в последнюю минуту уводит из-под занесенного ножа розово поблескивающую ткань.

— Скорей рука у тебя отсохнет, — смеется она дразняще, приторно. — Разве не я тебя выкинула?



Кто тебя лучше знает, чем я? Наверно, и тот разбойник вовсе не тобой убит. Эх ты, отцовский сынок!

Хихиканье матери, ее насмешки, ее подзуживающий тон и эта развевающаяся перед его носом розовая тряпка приводят в бешенство Гогия, мутят ему душу, — но и сковывают его, он словно заморожен материнскими словами, словно околдован, зачарован ею, и не гнев, не ярость движут им, а он лишь исполняет волю, прихоть своей матери, чтобы развлечь и потешить ее. В самом деле — он, как в дурном сне, хочет занести нож, чтобы ударить мать, и не может, нет силы в руке — рука словно отнялась, — но он не показывает виду, скрывает свое бессилие, боится, что мать еще обиднее станет насмехаться над ним. И в эту самую минуту, на счастье, входит в комнату их жилец и с ходу бросает Гогия — «Брось нож!» — спокойно, как бы вскользь, между прочим, словно бы вообще случайно появился здесь. На нем шинель внакидку. Видно, надоели ему бесконечные препирательства матери и сына, и он спустился, чтобы «навести порядок». При виде жильца у Гогия глаза вылезают на лоб от страха, но тут же этот внезапный страх сменяется столь же внезапной радостью, не оттого, что случайный пришелец может разнять, помирить его с матерью, спасти их от беды, а напротив, потому что если с матерью он не может справиться, так хоть жилец от него никуда не уйдет. Да к тому же есть у Гогия и старые счеты с ним.

— Положи нож, Гогия, опомнись, — невозмутимо говорит Ваню-учитель.

— Не подходи! Не подходи! — кричит Гогия истошно, во всеуслышание (ведь может в это самое время оказаться на улице, рядом, какой-нибудь прохожий), пусть все знают, что он, Гогия, и сейчас не хотел убивать, его вынудили.

— Брось нож, стыдись, как ты потом будешь жить, — спокойно, но твердо говорит Ваню-учитель.

Какое-то похожее на стыд чувство в самом деле овладевает Гогия, он не решается взглянуть в глаза этому странному человеку, вот уже во второй раз вмешивающемся в Гогиины дела, вторгающемся в его жизнь, словно подосланному к Гогия, — но что совсем уж странно, Гогия толком и не помнит, что случилось,



зачем у него зажат в руке нож, кого он хотел убить — мать, жильца, или обоих заодно — ну да, обоих уж вместе, сразу.

— Не подходи! Не подходи! — кричит он, размахивая ножом, но уже смешавшись.

— Слыхано ли? Чтобы со своим сыном в своем доме нельзя было поговорить по душам! — говорит мать.

Неожиданное заступничество матери вновь разжигает воинственный пыл в Гогия. — «Откуда ты взялся, чего ты ко мне пристал! — кричит он жильцу. — Мне ни учитель, ни начальник не указка, хочу, на поминках напьюсь, а хочу — на свадьбе; и вообще буду делать, что захочу».

— Не будешь! — обрывает его Вано-учитель и вдруг, в мгновение ока, захватывает и сжимает железными пальцами руку Гогия. У того от боли искажается лицо. Шинель сползает у Вано-учителя с одного плеча, он придерживает ее на другом плече свободной рукой — так, словно тащит за собой сеть, полную грязи и ила. Гогия не может вырвать руку из стальной хватки, но не выпускает ножа, хотя пальцы у него набрякли, посинели, почернели.

— Не убивайте нас, чем мы вам не угодили, попросили вас два слова написать, не выругали же по матери! — солидно, с достоинством заступает за сына мать, оскорбленная до глубины души этим безобразным, неприличным зрелищем.

Вано-учитель выпускает шинель, освобождает и другую руку, чтобы вырвать нож из набрякших пальцев Гогия. Шинель сползает к его ногам — словно обрушился песчаный холм. Он стоит теперь как бы по колено в песке — в песке, в грязи, в мутной жиже. — «Не сделаешь!» — говорит он и сует отнятый с трудом нож назад в дрожащую руку Гогия, словно хочет проверить, насколько справедливы его слова. Впрочем, Гогия уже понимает, что учитель прав, и если все еще вырывается, то лишь напоказ, чтобы видела мать, — сейчас она ненавистна ему, он пуще смерти боится ее насмешки, ее издевательского хихиканья. Он надулся, весь взъерошился, как индюк, возвращенный нож как-то еще больше сковывает его, делает смешным, — Гогия не знает, куда его девать, что с ним делать, словно,



побывав в руках у учителя, нож сразу утратил свою смертельную силу, способность устрашать, подчинять, и превратился в безобидный хозяйственный предмет, о назначении которого ему толком ничего не известно.

— У, падаль... Я эту падаль... эту... Я с этой... — он хочет сказать что-нибудь язвительное, припечатать, обжечь — лишь бы не стоять, как наказанный ребенок, перед своим жильцом, лишь бы превозмочь, подавить в себе откуда-то взявшуюся робость, страх перед этим человеком — напрасно старается, ничего не может придумать: чтобы найти, что сказать, надо хоть что-нибудь знать, надо хоть что-нибудь иметь в голове.

## 6

Лучшего места для безвестного, беспризорного мертвеца, чем милицейский подвал, во всем Сигнахи не сыщешь. Однажды Нико заглянул в этот подвал через узкое, как бойница, окошко, — пола не было видно, глаз не доставал до дна. Разумеется, подвал гораздо глубже могилы, и днем и ночью, зимой и летом клубится в нем влажный, затхлый сумрак. Убитого у старой церкви разбойника, вероятно, туда и снесли — и милиции так удобней, и самому мертвецу там предпочтительней: в темноте, в холоде, в одиночестве... Лежит он, наверно, под брезентом, с руками, сложенными на груди, как Нико. Пожалуй, и лейтенант остался с покойником в подвале. Не мог же и он в такой день вернуться, как обычно, домой после службы? Поцеловать, вернувшись, как всегда, в щеку свою беременную жену? Пошутить по обычаю: «Что это значит, сударыня, когда же соизволит ваш сыночек выйти на свет божий? (Собственно, разумнее всего было бы сыночку оставаться там, в материнской утробе, а то выйдет наружу и — бах! — всадит в него пулю какой-нибудь Гогия). Бабушка Нико говорит: «Провалиться мне, если она не родит двойню!». Нет, ни в коем случае не мог лейтенант уйти сегодня домой. Забыл, наверно, и про обед, и про ужин. Не то, что сегодня — долго еще он не сможет проглотить кусок в свое удовольствие. Сидит, небось, возле трупа, сгорбясь, уйдя в свои мысли... — «Может, принести вам керосинку, товарищ начальник, озябнете в этом леднике», — говорит ему несколько удивленный его поведени-



ем дежурный милиционер, скажем, тот же Георгий Упарашвили. Да и самого Георгия вряд ли тянет домой, к своей жене и сыну — такие они ему достались. Здесь, в милиции, ему лучше, чем дома, спокойней. Там его едят поедом, а здесь он хоть кому-нибудь нужен. Но лейтенант откажется, отошлет его, скажет, что позовет, если понадобится, и Георгий Упарашвили, почесывая себе затылок, потащится вверх по крутой лестнице. Впрочем, разве в самом деле не удивительно? Разве всякий не спросит, что его держит, зачем он, лейтенант, торчит около покойника — один, в темном подвале? Да как это... как это — зачем? Человек ведь он, с сердцем и с душой. Не сегодня — завтра станет отцом. И когда сын спросит его — как ты жил, что сеял, что пожинал? — какой он даст ответ? Что расскажет? Что, мол, однажды, еще до твоего рождения, принес мне кто-то известие, будто в заброшенной церкви прячется разбойник, и я так растерялся, так разволновался от неопытности, столько навоображал себе всякого — и хорошего, и дурного, что дал недоумку Гогия убить этого человека, хотя, по правде, до сих пор не знаю наверняка, был ли он на самом деле разбойником? После такой исповеди, разумеется, героем он в глазах сына не станет, а может случиться и хуже: сын не пожалеет его, не посочувствует, а поднимет на смех: из-за этого, скажет он, ты изводишь себя столько лет? Да откуда ты мог знать, как мог проверить, разбойник это был или не разбойник, на лбу ведь у него не было написано, и не стал же бы он тебе кричать изнутри этой старой церкви — я, дескать, разбойник, не спутай меня с каким-нибудь порядочным человеком! Не дай Бог, чтобы так ответил лейтенанту его будущий сын, но если ты способен сегодня совершить такую ошибку, то завтра не должен иметь претензии к своему сыну, говорить ему, что он вырос бессердечным. А ведь, пожалуй, вполне возможно, что настоящий разбойник убрался из старой церкви еще до появления милиции. Может, он почуял, что тут ему грозит опасность, и тотчас покинул эти места, убежал, спасаясь, как зверь, не задумываясь, не колеблясь, не жалея ни о полуразрушенных стенах, ни о разожженном с таким трудом огне. Ударил ему в нос запах Наскида — и он сорвался с места, убежал от беды. Да и какой же он был бы разбойник,



если бы не поступил именно так? А взамен, в это самое время, то есть в промежутке между бегством настоящего разбойника и приходом милиции, появился кто-то еще — проходил мимо, как Наскида, после Наскида, кто-то вообще, любой человек, кто именно — не имеет никакого значения, мало ли людей ходит по дорогам. Возвращаются даже воскресшие из мертвых, кого близкие считали погибшими. Разве один Наскида шагает по этой дороге? Разве дорога ему одному принадлежит? Ну, так вот, проходил мимо какой-то человек, окоченевший, утративший всякое чутье от холода, увидел — над старой развалиной поднимается дымок, и обрадовался, подумал: отогреюсь немного, отдышусь, впереди подъем. Ничего худого не заподозрил, не задумался — кто это словно нарочно для него развел огонь, — а просто обрадовался, что отогреется немножко — вот, мол, удача! Обрадовался — и погиб. Приятно ему показалось греться около оставленного разбойником огня, и дорого ему обошлось это нежданно-негаданное удовольствие, потому что Наскида уже успел донести в милицию, что в старой церкви скрывается целая куча бандитов (у страха глаза велики). Ведь вот, сам Нико ни на мгновение не усомнился и не подумал спросить себя — уж не разбойник ли случайно этот человек? Но так или иначе, а теперь уже колесо судьбы не повернешь назад. Разбойник тот человек или герой из сказки, а уже он мертв. Лежит в подвале милиции на ледяном каменном полу, покрытый брезентом, с руками сложенными (как у Нико) на груди, и в ногах у него сидит невольный его убийца, вернее, невольный соучастник убийства. На дворе ветер готов унести, разметать весь мир. Через каких-нибудь пять-шесть домов спит в теплой постели Ламара (беременная жена лейтенанта); от немолчного завывания ветра у нее даже во сне мурашки бегают по спине. Она спит, зажав руки между коленями. Но и во сне прислушивается, чтобы услышать сквозь это нескончаемое гудение ветра шаги направляющегося к ней супруга. Она еще, наверно, не знает, где ее муж, что он делает. Впрочем, нет, как же не знает, ей уже сто раз до сих пор могли сказать. Дедушка говорит, что дурные вести на крыльях летят. Разве кто-нибудь мог утерпеть, не сообщить ей, что ее муж сегодня возле старой церкви убил человека — правда, сам не стрелял, но тот,



кто выстрелил, сделал это с его согласия, по его указанию. Ну, а извещать да осведомлять да доносить — этому учить людей нет нужды. Тут вопрос только — кто кого опередит. А если так, то беременная жена лейтенанта не спит сейчас в теплой постели, а накинув халат на ночную рубашку, стоит у окна и вглядывается в уличную темень. Вглядывается, но ничего не может различить. Разве что ветер порой взвояет за окном, и тревожно зазвенят стекла в рамах. А Ламара и без того встревожена, волнуется — где ее муж до сих пор, не случилось ли с ним чего-нибудь? И притом боится излишнего волнения, ведь она беременна, ей надо беречь и ребенка и себя. Дедушка говорит, что беременная женщина стоит одной ногой в могиле. А она вовсе не бережется — приклеилась к холодному окну, полуголая, прямо из теплой постели. Беременные женщины, когда холодно, надевают две пары чулок, обматывают вокруг талии теплую шаль. Иная тарелки тебе не подаст — вредно, видите ли, тяжести поднимать. А ей, беременной супруге лейтенанта, и холод и волнение нипочем. А ветер воет, гудит, свистит — проникает даже сквозь стены, врывается в душу ждущей женщины, чтобы еще больше растрепать ее взбаламученные мысли. — «Заставлю его бросить службу», — думает Ламара, взбодораженная, в растерянности, в смятении. Шутка ли — вся эта история! И хотя ей, наверно, сообщили, что, мол, случилось то-то и то-то, но она все же пока ничего в точности не знает: кого убили, кто убил, с кого какой спрос, зачем и почему. Притом в комнате холодно (как в комнате Нико). Печка погасла (как здесь, у Нико). Ни у кого не топится печка всю ночь напролет. Чей кошелек это выдержит! На столе еле светится лампа (как едва светила на столе возле Нико, пока не погасла). Ну, конечно, откуда у них могли бы взяться хрустальные люстры! В комнате пахнет копотью (как здесь, у Нико). Наверно, это не очень благоприятные условия для грядущей, имеющей народиться жизни; наверно, имеет немалое значение, каким воздухом придется дышать в первый раз, с самого начала. «Как только поправлюсь, то есть, как только рожу ребенка, пойду работать, — думает Ламара. — Ну да, как же! Новорожденному ребенку как раз и полагается нянька и прислуга; все равно как выпущенному из тюрьмы человеку;



тут-то и нужны, если на то пошло, уход и забота. А он пусть сидит дома, на ребенка любителю; или пусть займется каким-нибудь более спокойным делом. Жалко ведь беднягу, пропадет, погибнет — если еще не погиб», — так она размышляет, чтобы отогнать совсем уж мрачные мысли, чтобы не навообразить себе страшных вещей и не свести с ума уже в утробе своего малыша, своего еще нерожденного, грядущего в мир. — «Сейчас придет наш папочка, — говорит она ему, нерожденному, грядущему. — Сегодня небось ни крошки не проглотил, бедняга».

— Бабли-библи-бебли-бубли, — отзывается тот, нерожденный, грядущий.

— Да, детка, да, сейчас ночь, ветер на дворе, и отец твой еще не возвращался, — отвечает ему Ламара.

Недаром ведь сказано, кто, как не мать, язык немого разумеет?

— Бабли-библи-бебли-бубли, — говорит грядущий.

— Твоя правда, наш папочка лучше всех. Ну, напраслину на него, конечно, возводят. Язык без костей, сболтнет что угодно. А наш папочка самый хороший, самый храбрый. И нас никто никогда пальцем не тронет из страха перед ним, — оживившись, уже веселее отвечает Ламара.

Она верит в то, что говорит. Когда веришь — тебе все нипочем, вот если не веришь — тогда тебя стоит пожалеть. «Бабли-библи-бебли-бубли», — звонит о своем грядущий. Пока что — это все, что он умеет, все, что ему доступно. Но его матери и этого довольно для того, чтобы протянуть как-нибудь время, не думать ни о чем другом, не поддаваться гнету ожидания, неопределенности, страха, не путаться в сетях всевозможных сомнений и опасений — не то, если она поддастся им хоть на мгновение, они нападут на нее, как шелковичные черви на тутовые листья. Х-рр-ш, х-рр-ш — короткий хруст, и кончено, ничего от нее не останется, только халат и шлепанцы — рожки да копытца. — «Подождем еще немножко, а потом пойдем, поищем нашего папочку, где он, что он делает», — говорит Ламара своему грядущему. А папочка сидит около трупа, в заледенелом милицейском подвале, в могильной темноте — хотя, правда, снаружи просачивается в окошко слабый свет улично-



го фонаря — ветер раскачивает лампочку, и свет, посылаемый ею, тоже, разумеется, колеблется и временами меркнет — так что с улицы проникает в подвал лишь тусклый, перемежающийся отблеск, но это все же какой ни на есть, а свет, и можно при нем хоть что-то различить около себя, хотя лейтенанту не так уж это необходимо. Ему нужен совсем иной свет, свет разума, чтобы найти путь, разобраться в путанице своих сомнений и предположений. Человек ведь таков, каким он представляется другим (мне, тебе, ему), во всяком случае — таков для этих самых «других» (для меня, для тебя, для него). А если это верно, тогда, по мнению Нико, лейтенант поступает именно так, как должен поступать, и сидит именно там, где ему следует сидеть. Разумеется, теплая постель предпочтительнее промерзлого подвала, и беседовать с беременной женой приятнее, чем сидеть безмолвно около мертвеца, но пока ведь еще многое не установлено, не выяснено, в первую очередь — личность убитого. И лейтенант сидит у ног покойника на полу (подложив под себя планшет — правильная предосторожность, врагу не пожелаю сидеть на ледяной каменной плите, сидит, склонив голову на колени, на первый взгляд похоже, что спит, обессиленный всеми хлопотами и волнениями минувшего дня. Но сна у него ни в одном глазу, — а если глаза его закрыты, так это для того, чтобы свет разума не затмился от света внешнего мира — хотя бы тусклого, перемежающегося. Он не спит, а в который раз припоминает и обдумывает, разбирает все обстоятельства, каждую мелочь, каждое слово, весь путь от старой церкви до подвала. — «Куда делись другие бандиты?» — упрямо спрашивает он самого себя, как следователь — опытного и коварного преступника. Наскида видел троих — они будто бы собирали обрывки резины и хворост около старой церкви. Остальные (сколько?) находились внутри, в развалинах церкви, оттуда будто бы доносились голоса. Но как могли слышать сквозь свист и вой ветра тугоухий Наскида? Неужели подняли такой уж гомон эти вышедшие на добычу волки? Уж скорее они сидели, насторожив уши, на своих хвостах вокруг дымящего огня, — если вообще сидели. Если вообще были там, в старой церкви, бандиты — собственно, хотел сказать лейтенант. У страха и уши велики, ведь трудно поверить в бесследное ис-



чезновение целой толпы людей. Прямо как будто через потайной подземный ход. Но тогда ведь ушел бы с нами и этот? Зачем бы его оставили на погибель? Или он пожертвовал собой, чтобы остальные успели убраться подальше, пока его будут убивать? Поди, разберись! Если Наскида говорит правду, то бандиты ушли до появления милиции, а это... — «Не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог», — волнуется, нервничает, упершись головой в колени, лейтенант и все снова напрягает память, копается в ней, старается восстановить шаг за шагом все, как было или как могло быть — все до последней мелочи. Дело ведь тут касается человека, люди, человека! Правда, жалуется он, почему, мол, я родился человеком, — но раз уж родился, мы должны поступать с ним так, как подобает с человеком обращаться. Лейтенант вспоминает даже, что когда разбойник упал, у него с ноги свалилась обувь. Чтобы проверить свою память, лейтенант встает, откидывает угол брезента и, окончательно убедившись в своей правоте, кричит Георгию Упарашвили: — «Почему у трупа на ногах один башмак, где второй?»

— Наверно, в вещах этого бедолаги, начальник, — тотчас же отзывается Георгий Упарашвили; так, словно он ждал, что его позовут, и знал заранее, о чем именно спросят.

Отвечает он без промедления, но тут же, усомнившись, задумывается, пересматривает в уме вещи убитого. Только бы не отпустили его домой, а он ни от какого дела не откажется, готов хоть все время дежурить, даже вместо других, готов без роздыху стоять по стойке «смирно». А ведь еле ноги таскает, бедняга, впору ли в его года в милиционерах служить! Но все же здесь он себя чувствует лучше, чем дома, здесь его хоть за человека считают, спрашивают о том, о другом, а дома он кусок не может проглотить спокойно, все ждет, когда ему дадут подзатыльник. Глаз не может сомкнуть ни на минуту, такой в его доме вечный тарарам. Не дом, а бесплатный театр. Люди собираются под окнами у них, чтобы позабавиться. Уж и срамят его жена и его сын друг друга, в чем только друг друга не обвиняют — никого не стесняются, бесстыжие, и такое у них с языка срывается, что уши вянут. А посторонние лопаются от смеха — слушатели, зрители, любители



потехи. У всего города Упарашвили на языке. Базарные злыдни не скажут друг о друге того, что каждый из них говорит о другом, а оба вместе — об их кормильце, муже одной и отце другого. Его, беднягу, жалко — а домашние его друг от друга далеко не ушли. Одним миром мазаны, со схожим схожи, ко славе Божьей, как говорится. Дедушка говорит, если человека в собственном доме ни во что не ставят, лучше ему шапку надеть и уйти подальше, с глаз долой. Правда, и бабушка, бывает, ссорится с дедушкой и тоже умеет кольнуть побольней, но семья Упарашвили — это совсем другое, всякий знает, что они каждый божий день по десять раз накидываются друг на друга, и не только на словах, бывает, что доходит и до рукоприкладства. Богом проклятое семейство — если, конечно, можно назвать семейством такое сборище погибших душ. Да, жалко Георгия Упарашвили, пропадает в их руках, не муж, не отец, не человек, а овца, и жена, и сын сидят у него на голове. Однажды они его даже побили. Целую неделю он ходил с завязанной головой, как герой кинофильма. Не знал, куда спрятаться от сигналахских насмешников — как повстречают, непременно спросят: «Что это с твоей головой? Что-нибудь с тобой стряслось?» Не мог же он сказать, что домашние поколотили! Бедняга нарочно смеялся — дескать, свинкой заболел на старости лет.

— Поищи, будь другом, и дай мне сюда, — говорит лейтенант Георгию Упарашвили, и тот, не мешкая, перетряхивает вещи убитого, чтобы отыскать другой башмак.

А чего там особенно перетряхивать, какие могли водиться вещи у такого бедолаги? Допустим — немного денег, если он вообще имел когда-нибудь дело с деньгами. Вероятно — носовой платок, он каждому нужен. Пожалуй, перочинный нож, может, он умел вырезать из тростника свирели и тем кормился? Продаст свирель, купит хлеб, как отец Еленицы. И возможно еще — пуговица. У него не хватало пуговицы на пальто. Нико это сразу заметил, потому что у него самого не хватает одной пуговицы на американском жилете, и от этого ему очень неловко — кажется, что все это замечают, словно всем бросается в глаза именно то, что потерялось, чего уже нет, а не то, что оста-



лось — то есть на весь жилет целиком без этой пуговицы никто даже не обращает внимания — то ли есть, то ли нет. Такие же предметы вполне могут обнаружиться в кармане любого случайного прохожего, но из-за этого никто не всадит в него пулю, во всяком случае, не должен всадить; но того, убитого, явно томило ожидание чего-то похожего на случившееся, — так сейчас кажется Нико, — более того, он словно знал, что должно случиться, но — и это еще удивительнее — не только не старался скрыться, убежать, а спокойно и безропотно ждал неизбежного. Нет, не спокойно и безропотно, а с волнением, нетерпеливо, словно он никак не мог дождаться, когда же случится то, что надвигалось, и даже немного опасался, как бы в последнюю минуту не изменилось что-нибудь, как бы не передумало провидение. Об этом говорили весь его вид, его поведение, взгляд, его улыбка, каждое его слово... Это подтверждалось и огнем, с горящими в нем обрывками резины (кем бы ни был разведен этот огонь), этим зловонным, коптящим и дымящим костром, который нужен был ему скорее для того, чтобы облегчить ожидание, протянуть время, нежели для того, чтобы согреться, — недаром он, как только почувствовал приближение конца, бросил обгоревшую, тлеющую палку в угли и чуть ли не силой вытолкнул Нико из полуразрушенной церкви. Правда, он простился с Нико, сказал ему — «Ты, вижу, славный парень, не забывай меня», — но конечно, это было похоже скорее на вежливое выпроваживание, чем на проводы до дверей. Но Нико должен сказать спасибо хотя бы за то, что его пригласили к огню, стояли рядом с ним, как с равным, не хватали его за ухо — старшие любят драть за уши, если только представится случай, ни за что не упустят его, тотчас же хватают тебя за ухо. Впрочем, человек в старой церкви не был похож на них, он был совсем не такой. Они, эти уходеры, все похожи друг на друга, как родные братья. Их узнаешь сразу, издалека, выделяешь из целой толпы людей. На мгновение, правда, когда его выводили из разрушенной церкви, Нико показалось, что и этот собирается отодрать его за уши, — и он весь взъерошился, как еж, приготовился к бою, как в тот достопамятный день, когда Евгения Дугладзе сперва разорвала перед его носом тетрадь со стихами,



а потом собиралась даже отодрать его за уши; но у Нико, видимо, сделалось такое лицо, так задрожал подбородок, что рука уважаемой наставницы, уже занесенная было над самым ухом ученика, застыла в воздухе, и она, ничего другого не сумев придумать, чтобы утвердить авторитет взрослого перед младшим и престиж педагога, бесстыдно накинулась на него: «А ну, повтори, что ты сказал, невежа!» — и, хоть на свой взгляд сохранила достоинство, но от прежних апломба и самодовольства в ней уже немного осталось, и это сразу почувствовал Нико, — но его не только не обрадовало, а напротив, привело в замешательство и несколько даже испугало неожиданное поражение настолько превосходящего его возрастом и властью врага, так как он впервые почувствовал тогда, что и сам представляет собой определенную силу и, главное, окончательно уверился, что покорность, сознательная или произвольная, показная или искренняя, лишь еще больше разжигает в педагогах, подобных Евгении Дугладзе, стремление подавлять своих воспитанников и драть их за уши, тогда как любой хотя бы самый незначительный, хотя бы слепой, случайный, неподвиженный, минутный отпор, возмущение, сопротивление ученика не только усмиряет каждый раз в них подобные желания, но и вообще расшатывает их убеждение — порожденное бессловесной, почти животной покорностью воспитанников, — что все им дозволено. К счастью, в старой церкви ничего подобного не произошло. Но и вежливое выпроваживание нанесло Нико не меньшую обиду. Более того, быть может лучше бы его оттащали за уши, он по крайней мере знал бы, с кем имеет дело, оказал бы сопротивление, защитил бы себя — наконец, ушел бы сам, по своей воле, или просто убежал бы оттуда. А он даже не сумел сказать тому человеку: «Может, я еще не собираюсь отсюда уходить, может, я еще не согрелся; может, я вообще собираюсь навсегда здесь остаться, такая у меня прихоть — ведь у всякого свой нрав». И в самом деле, у всякого свой нрав — одни сидят дома, другие жмутся у зловонного огня в разрушенных церквях. Кто сочтет, сколько таких старых, брошенных церквей в Грузии! Но язык у Нико немеет именно тогда, когда он нужен, и знаете, почему? Врожденная застенчивость, робость — вот его



болезнь, фамильная болезнь, унаследованная от предков. Разумеется, нехорошо быть и бесцеремонным, но то что нехорошо, а гораздо хуже, бесцеремонный человек заставит тебя жизнь проклипать, но ведь от тебя самого должно зависеть, чего стесняться и робеть, а чего нет. В первую очередь надо опасаться опять-таки бесцеремонного человека, потом пьяного, сумасшедшего, прокаженного, поезда, автомобиля, огня, воды, сифилиса... Но все, что должно быть сказано, — надо сказать, все, что должно быть сделано, — надо сделать, Карфаген должен быть разрушен. Нико, разумеется, обиделся и даже надулся. Но он сделал над собой усилие, чтобы уйти оттуда не оглянувшись и тем выразить свое негодование, хотя ему очень хотелось поглядеть на того человека при дневном свете, чтобы окончательно убедиться, в самом ли деле он отличался от других (ото всех) чем-то (всем), или такое впечатление возникло у него лишь благодаря сумраку, царившему в развалинах церкви, и густому, горькому дыму горелой резины. Видимо, и тот человек понял, что Нико уходил обиженным, и вернул его, окликнул: «Эй!» — потому что не знал имени, не спросил (зачем оно ему было?), а сам Нико не назвал себя. Когда его позвали, он обрадовался, но обернулся все же с нахмуренным лицом, говорившим: «Я тебе не «Эй», и наверно произвел бы гораздо более выгодное впечатление, если бы не подвел, не осрамил его неожиданный порыв ветра, с такой силой налетевший на него со спины, что он, подталкиваемый сзади, невольно пробежал несколько шагов по направлению к старой церкви — так, словно торопился явиться на зов, как бездомный пес — всеобщий и ничей, — а тот человек стоял в дверях церкви и улыбался. Именно в эту минуту подумал Нико: «Ну, этот отсюда никуда не уйдет». При дневном свете он показался Нико гораздо моложе; и Нико снова почудилось в нем сходство со своим отцом — тот же странный, тревожно волнующий отблеск на лице, то ли победоносной, торжествующей смерти, то ли опостылевшей, надоевшей жизни. Мелькнуло воспоминание все о том же дне, когда мать привела его в больницу для прощания с отцом. Ноги еле несли его, он всю дорогу думал об отце и мучился безмерно, потому что не мог его вспомнить таким, каким тот был до болезни, передвигающимся



без посторонней помощи, стоящим на своих ногах, — а был отец на целую голову выше каменной ограды, на которую Нико с трудом мог вскарабкаться, чтобы заглянуть в соседний двор, где жила Еленица. Такого папы уже не было. Это он не столько знал, сколько чувствовал, и потому не ходил обычно с мамой в больницу, чтобы повидать изменившегося (мама говорила — его не узнать), непривычного, преображенного папу; но когда тетя приехала, чтобы увезти его в Сигнахи, он просто не мог не попрощаться с отцом, и вот, по пути к больнице, все время пытался представить его себе — не прежнего, а нынешнего, каким он его еще не видел: больного, беспомощного, прикованного к постели. Его детское честолюбие было болезненно уязвлено, и он, как это вообще было ему свойственно, с помощью всевозможных уловок воображения пытался обмануть себя, спрятаться от горькой правды. Он не в силах был вообразить — и тем более не хотел видеть — разбитого болезнью отца; в любом другом состоянии он предпочел бы вообразить его — и, разумеется, видеть — пусть хоть распятым или закованным в цепи... И потому в его воспаленном сознании то и дело с грохотом расступалась серая стена больницы и за нею, в глубине, постепенно вырисовывалось угрюмое лицо прикованного к железному столбу человека, поблескивающее, как шлем, в сумраке, пропитанном запахами лекарств и кухонными ароматами. — «Зачем ты его привела, я же говорил, что мой сын не должен видеть меня таким», — гневно выговаривал маме человек на цепи и в то же мгновение с грохотом смыкалась серая больничная стена. Вообразить папу, прикованного цепью, было не так оскорбительно для Нико. В конце концов, ведь и Амირани точно так же был по воле Бога прикован цепью к скале, и если его не унижала такая кара (предназначенная только одним героям), то не могла бы унижить и отца Нико. — «Гляди перед собой!» — окликнула тут его мама и больно дернула за плечо. Лохматая, потная лошадь проволочла перед самым его носом нагруженную подводу на автомобильных колесах. Нико тотчас же очнулся от своих мыслей и почему-то у него зашипало в горле, задрожал подбородок — такое у него отвратительное свойство: стоит ему почему-либо огорчиться, или пожалеть кого-нибудь, или рассердиться-



ся, — тотчас же начинает трястись подбородок. А разговаривать (с врагами) он вообще не умеет, не может: приходится подбородок рукой придерживать. И вот, не зная, что говорить, как себя вести, он, на счастье, вспомнил черепаху, которую где-то здесь поблизости убили на днях он и Вало Бадалашвили. Вернее, убил черепаху Вало Бадалашвили, а он, Нико, и в тот раз был лишь свидетелем, очевидцем убийства (дедушка говорит, что очевидец трех убийств равняется одному убийце). Как-то непроизвольно он стал искать взглядом раздавленный панцирь черепахи. Но кругом, насколько хватал глаз, ничего похожего не было видно. Или он спутал место, или ту черепаху вместе с ее панцирем утащил в свою нору шакал, — возможно, тот самый шакал, что некогда, в незапамятные времена, когда Нико был совсем маленьким, бегал, трусил в маминой песне, рыжий, взъерошенный, смешно тараща глаза, потому что не понимал, зачем его прогоняют, что он сделал дурного и вообще что за дело ему до Нико и Нико — до него.

Убирайся, шакал,  
Не хотим мы играть,  
Мы хотим сладко спать.

Ну, так ухватил зубами этот самый шакал черепаху вместе с ее панцирем и уволок. Небось, обрадовал своих шакалят, и затихла нора, смолкли в ней голодные визг и скуление. Когда кому-то не сладко — это тоже дедушкины слова — другому кому-то весело. Кто-то рождается, а кто-то умирает — так устроен мир. И мертвая черепаха, наверно, пришла на память Нико из-за тоскливой улыбки и странного, отрешенного лица разбойника. На мгновение возникла в его воображении картина: как хватил Вало Бадалашвили черепаху камнем, как потом ткнул ногой уже мертвое животное, и как черепаха раскололась надвое, наподобие вареной тыквы. Внутри она была желтая — тоже, как тыква, — и столько в ней было тесно уложенных, словно на низанных яиц, крупных и мелких, что можно было бы ими наполнить глубокую тарелку. — «Ты, похоже, такой молодец, что, может, сумеешь даже в речной гальке камень найти!» — сказал Нико разбойник. Он по-прежнему улыбался — печально и по-отечески. — «Не хвалите меня, а то от радости куска не смогу прог-



без посторонней помощи, стоящим на своих ногах, — а был отец на целую голову выше каменной ограды, на которую Нико с трудом мог вскарабкаться, чтобы заглянуть в соседний двор, где жила Еленица. Такого папы уже не было. Это он не столько знал, сколько чувствовал, и потому не ходил обычно с мамой в больницу, чтобы повидать изменившегося (мама говорила — его не узнать), непривычного, преображенного папу; но когда тетя приехала, чтобы увезти его в Сигнахи, он просто не мог не попрощаться с отцом, и вот, по пути к больнице, все время пытался представить его себе — не прежнего, а нынешнего, каким он его еще не видел: больного, беспомощного, прикованного к постели. Его детское честолюбие было болезненно уязвлено, и он, как это вообще было ему свойственно, с помощью всевозможных уловок воображения пытался обмануть себя, спрятаться от горькой правды. Он не в силах был вообразить — и тем более не хотел видеть — разбитого болезнью отца; в любом другом состоянии он предпочел бы вообразить его — и, разумеется, видеть — пусть хоть распятым или закованным в цепи... И потому в его воспаленном сознании то и дело с грохотом расступалась серая стена больницы и за нею, в глубине, постепенно вырисовывалось угрюмое лицо прикованного к железному столбу человека, поблескивающее, как шлем, в сумраке, пропитанном запахами лекарств и кухонными ароматами. — «Зачем ты его привела, я же говорил, что мой сын не должен видеть меня таким», — гневно выговаривал маме человек на цепи и в то же мгновение с грохотом смыкалась серая больничная стена. Вообразить папу, прикованного цепью, было не так оскорбительно для Нико. В конце концов, ведь и Амрани точно так же был по воле Бога прикован цепью к скале, и если его не унижала такая кара (предназначенная только одним героям), то не могла бы унижить и отца Нико. — «Гляди перед собой!» — окликнула тут его мама и больно дернула за плечо. Лохматая, потная лошадь проволочла перед самым его носом нагруженную подводу на автомобильных колесах. Нико тотчас же очнулся от своих мыслей и почему-то у него защипало в горле, задрожал подбородок — такое у него отвратительное свойство: стоит ему почему-либо огорчиться, или пожалеть кого-нибудь, или рассердиться-



ся, — тотчас же начинает трястись подбородок. А разговаривать (с врагами) он вообще не умеет, не может: приходится подбородок рукой придерживать. И вот, не зная, что говорить, как себя вести, он, на счастье, вспомнил черепаху, которую где-то здесь поблизости убили на днях он и Вало Бадалашвили. Вернее, убил черепаху Вало Бадалашвили, а он, Нико, и в тот раз был лишь свидетелем, очевидцем убийства (дедушка говорит, что очевидец трех убийств равняется одному убийце). Как-то непроизвольно он стал искать взглядом раздавленный панцирь черепахи. Но кругом, насколько хватал глаз, ничего похожего не было видно. Или он спутал место, или ту черепаху вместе с ее панцирем утащил в свою нору шакал, — возможно, тот самый шакал, что некогда, в незапамятные времена, когда Нико был совсем маленьким, бегал, трусил в маминой песне, рыжий, взъерошенный, смешно тараща глаза, потому что не понимал, зачем его прогоняют, что он сделал дурного и вообще что за дело ему до Нико и Нико — до него.

Убирайся, шакал,  
Не хотим мы играть,  
Мы хотим сладко спать.

Ну, так ухватил зубами этот самый шакал черепаху вместе с ее панцирем и уволок. Небось, обрадовал своих шакалят, и затихла нора, смолкли в ней голодные визг и скуление. Когда кому-то не сладко — это тоже дедушкины слова — другому кому-то весело. Кто-то рождается, а кто-то умирает — так устроен мир. И мертвая черепаха, наверно, пришла на память Нико из-за тоскливой улыбки и странного, отрешенного лица разбойника. На мгновение возникла в его воображении картина: как хватил Вало Бадалашвили черепаху камнем, как потом ткнул ногой уже мертвое животное, и как черепаха раскололась надвое, наподобие вареной тыквы. Внутри она была желтая — тоже, как тыква, — и столько в ней было тесно уложенных, словно на низанных яиц, крупных и мелких, что можно было бы ими наполнить глубокую тарелку. — «Ты, похоже, такой молодец, что, может, сумеешь даже в речной гальке камень найти!» — сказал Нико разбойник. Он по-прежнему улыбался — печально и по-отечески. — «Не хвалите меня, а то от радости куска не смогу прог-



лотить сегодня», — засмеялся Нико, чтобы скрыть свое неожиданное волнение. — «Смотри-ка! Да ты <sup>вообще</sup> какой догадливый, — улыбнулся чуть шире разбойник. Ты, наверно, из Бодбе, или из Мохиси, или из Хорги, или из Окриби, или из Лабскалди». — «Не угадали, я из Батуми», — нахохлился Нико и повернул назад, ушел оттуда с трясущимся подбородком, с тяжелым сердцем, так как был уверен, что разбойник хотел сказать ему что-то важное — для того и вернул назад с дороги, — но что в последнюю минуту передумал, не пришелся ему по душе Нико, а главное, не счел он Нико достойным доверия. Что ж, Нико и ушел. Что еще ему оставалось делать? Не мог же он повалиться незнакомому человеку в ноги, умолять, чтобы тот, хочет того или нет, доверился ему, выдал ему свою тайну? Но не успел он добраться до конца второго подъема, как услышал фыркание и ржание лошадей, и это было как-то неожиданно, необычно, подозрительно, пугающе — он метнулся в кусты прежде, чем успел подумать, что надо спешно, не медля ни минуты, предупредить разбойника. Подумал, но не сделал, не успел, и словно валяется до сих пор в этом колючем кустарнике. От милиции он спрятался, но как спрятаться от самого себя, вернее — от своей совести? Совесть ведь человек всегда носит с собой, она обложила его со всех сторон, как осадное войско — осажденную крепость. Нет, наоборот, как стены осажденной крепости окружают единственного ее защитника, который обязан умереть в этих стенах, потому что его место здесь, только здесь, больше ему нигде невозможно жить, но прежде чем придется умереть, ему предстоит воевать, защищаться, пока не кончится у него порох и пули, пока не выпадут у него зубы, не обломаются ногти, не высохнет слюна во рту. Человек — это его совесть. Отними у него что угодно, кроме совести, и он останется человеком. Но если отнять у него совесть и оставить все остальное, он человеком уже не будет. Даже после смерти совесть — единственное, что остается от человека. Совесть — это душа человека, или, если угодно, душа — это совесть. Отсюда мы можем заключить, что совесть и только совесть бессмертна, если вообще существует бессмертие — но совесть такая же чистая, как снег на вершине Ушбы; такая же покойная, как покойно яйцо в гнез-







опасности, как сразу станет, как скала, устрашит врага с занесенным мечом, заставит его вложить меч в ножны, а какого-нибудь подонка, насильника или воришку и вовсе сотрет в пыль, обратит в ничто. Стоит, спокойно поправляет платок — с виду спокойно, степенно, невозмутимо, а руки у нее дрожат, и тонкие, побелевшие губы тоже, но не от страха, страх она уже преодолела, а от преодоленного страха, от негодования, от гнева. — «Ты чего на мою семью ополчился? Думаешь, раз я женщина, так верх надо мной возьмешь?» — и медленно, почти незаметно, надвигается на врага, подонка, вора. С тех пор так ни разу и не показывался этот подлюга Наскида. Говорит о дедушке, будто у того тайная переписка с бежавшим правительством. Иуда! Впрочем, хуже, чем Иуда. Иуда по сравнению с ним — Христос. Иуда донес и потом повесился, ужаснувшись того, что он сделал. А для Наскида еще не выросла осина, и никогда не вырастет. Наскиды самоубийством не кончают. Наскиды берегут себя, безошибочно чутье говорит им, что они необходимы жизни, и они знают в ней толк. Собственно, никого это и не должно удивлять. Разве в природе все прекрасно? Сколько в ней отталкивающего, мерзкого, непонятного, неприемлемого — хоть в мире животных, хоть среди растений или насекомых. А жизнь берет пример с природы, подражает ей, рядом с добром желает видеть зло, рядом с прекрасным — уродливое. Наскида — просто обычный аферист, тот талант, которым его одарила природа, он и использует, чтобы прокормиться. Разве он виноват, что его ремесло находит спрос и применение? Рыболовство не прекратится до тех пор, покуда рыбы не перестанут заглатывать крючок и попадаться на удочку. Так и Наскида, покуда в людях не исчезнет страх перед ним и почтение к нему, он будет существовать. Придумывает всевозможные мерзости про людей, чтобы вымогать у них деньги. Все в страхе перед ним, виноватые и безвинные. — «Дай мне столько-то денег, и я не дам хода делу» — никто и не знает, о каком деле речь, но все одинаково запуганы, и все суют ему деньги в руку. Но с нашими он просчитался, вместо дедушки напоролся на бабушку. А этого он, очевидно, не мог заранее предвидеть. — «Не такие мы боязливые, чтобы еще и тебя, негодяй, бояться!» — сказала ему бабушка. С тех пор



он больше не показывался, даже и не забредал в наши края, хотя, как выяснилось в последнее время, все же сумел выманить у дедушки ведро вина.

А Георгий Упарашвили тем временем нашел башмак и бочком спускается по подвальной лестнице. Возраст, как-никак, берет свое. Вспомнить хоть доктора — нет больше прежнего здоровья, прежних сил, унесли их время, жизнь, семья (и какая семья), служба. Всё и все что-нибудь уносят, и притом навсегда. Человек — как дерево: расцветает, набухают на нем почки, завязываются, наливаются плоды и — конец, оно осыпается, роняет листья. Как говорит поэт: ветер ястреба мчит, ястреб что-то когтит. — «Под несчастливой звездой родился мой сын, — жалуется Георгий Упарашвили лейтенанту, держа в обеих руках башмак с присохшей грязью, словно почтового голубя, которого собирается подбросить в небо. — И себя-то загубил, и на нас какой грех огромный взвалил, словно камень тяжелый на шею навесил, будто мало было нам греха, что взял на душу его дядя, — ноет он по-стариковски, беспомощно. — Впору нам с моей старухой взяться за руки да броситься в Алазани». Ну да, как же! Не тут-то было! Пусть сперва спросит свою старуху, хочется ли ей плескаться в ледяной реке! Как же, куда муж, туда и она! Как будто никогда еще мужнему слову не перечила — и теперь, на старости лет, не отступится! Как же, даже и не подумает возражать, скажет — раз мой муж так считает, значит так надо, должно быть таково единственное средство, чтобы человеку очиститься от греха. Почитает мужа, и потому думает так, а не иначе, и потому-то до сих пор и жив мир, потому-то существует еще семья. В конце концов Бог создал женщину, чтобы она была не врагом мужчине, а делила с ним его жизнь, его ложе, его борьбу и тяготы, его мысли. Дедушка говорит, кому женщина счастье принесет, у того и Бог счастье не отнимет — хотя и того, кто через женщину несчастен, сам Бог не сможет сделать счастливым. Но сейчас не время об этом. У дедушки пословиц не счесть. Что бы ни случилось, о чем бы ни шла речь, у него тотчас же найдется подходящая пословица.

— Ему... ему... ему... — словно лает лейтенант на Георгия Упарашвили, словно заигрывает с ним, словно от холода и от напряженного обдумывания внезапно



сошел с ума. На самом же деле у него от волнения заплетается язык, он с трудом связывает слова. — Ему, этому человеку, больше не нужны ни одежда, ни обувь, — удастся ему наконец выговорить. — Но мы все же должны надеть на него собственные его башмаки. Кому от этого какой вред, или какой закон мы нарушаем? — неожиданно выходит он из себя.

Вопрос его адресован ему самому, Георгию Упарашвили и даже сводам подвала. Впрочем, своды, вероятно, не видны, чернеет непроглядный мрак.

— Надо надеть, как же, надо, конечно, он должен быть обут. Он теперь уже ни перед кем не виноват, — говорит Георгий Упарашвили задумчиво, как бы в сомнении. Любит он взвешивать свои слова — и перед тем, как выговорить, и после. Знает, что нельзя говорить все, что придет на ум. В этом еще одно его отличие от жены и сына. А может, он вообще, слушая их, понял, что необдуманные, опрометчивые речи ни к чему хорошему не ведут.

Медленно поднимается он по лестнице, кряхтит, вздыхает по-стариковски прежде, чем дойдет до верхнего конца и закроет за собой дверь. А лейтенант, опустившись на колени у ног убитого, надевает на него второй башмак и разговаривает с ним, наподобие того, как близкие беседуют с покойником на кладбище, когда приходят к нему на могилу: «Что ты сделал со мной, не пожалел меня, как я теперь сыну в глаза взгляну».

Вдруг убитый сбрасывает с себя брезент, приподнимается, садится и говорит: «Что тебе от меня нужно, добрый человек, почему ты не оставляешь меня в покое?»

Вот вам и чудо! Видно, когда человек болен, мысли у него рождаются необычные — странные и более смелые, свободные. Он теперь ничего не боится, ни с чем не считается, забывает, что можно, что нельзя, словно, если он болен, то ему все простительно, более того, словно, раз его уложили в постель, он никогда уже не поднимется с постели, или как будто постель, как ковер-самолет, перенесет его в дальнюю, совсем иную страну, где у него не будет ни друзей, ни врагов; где никто, кроме его собственной совести, не может ни по какому поводу потребовать у него ответа, где он может думать о чем угодно и воображать что угодно. Где он может петь: «Я



и бурка моя — неразлучные друзья» или объявить: «Я поэт, я гений, мистик, и в руках у меня хлыстик». Поэтому и лейтенант не удивится воскресению мертвеца; когда тот откинет брезент, сядет и спросит: «Что тебе от меня нужно, добрый человек, почему не оставляешь меня в покое?» Лейтенант не изумится, — что такое, что делается, во сне все это происходит или наяву? — а лишь ответит убитому вопросом на вопрос: «А знаешь ли ты, что я со дня на день должен стать отцом?» А мертвец уже поднялся на ноги и, накинув брезент на плечи — как-никак, в подвале одинаково холодно и живому, и мертвому, — прогуливается по помещению, разминает ноги, ходит от одной стены до другой и обратно. Видно, в пути, пока он висел на спине лошади, руки, ноги, да и все тело у него онемели. Ходит, а суставы у него трещат — и он улыбается, треск этот ему приятен. И никаких чувств он не испытывает, тем более к лейтенанту, ни ненависти, ни жалости, ни... А впрочем, какие может испытывать чувства мертвец по отношению к живым? Если живой вообще оставит мертвого в покое — тем лучше для обоих, и мертвому и живому; недаром говорят живые вслед мертвым: чтоб тебе не оглянуться на нас. Так и мертвые. Мертвые уже от иного мира, и в делах этого мира не разбираются. И ничего ему больше не требуется, кроме погребения. В самом деле — какое ему дело до того, что о нем думает лейтенант, что говорит Наскида, какие о нем толки в городе; какое имеет значение, какая для него разница — прятался ли он в старой церкви, чтобы грабить возвращающихся с ярмарки людей, или назначил там свидание своей любовнице; было ли ему по возвращении с войны некуда идти, так как родители его умерли, жена нашла другого мужа, а ребенка взяли чужие люди — или он, как неразумное дитя или как поэт-мистик вообразил себя сыном Амирани, ожившим, вышедшим из сказок в действительную жизнь, и волей-неволей вынужденным скрываться в этих загаженных развалинах. Возможно, у него и не было такого намерения, и все случилось само собой: он случайно заглянул в старую церковь, заметив кем-то разожженный огонь, и ему там понравилось, привлекло, очаровало, околдовало его странное сочетание минувшего и нынешнего, прошедшего и наступившего, или нет, сосуществование святости и грязи... Впро-



чем, сейчас и это уже не имеет значения. Он уже мертв, а раз мертв, то его совсем не беспокоит, не стесняет смерть. Для мертвого смерть то же самое, что для живого — жизнь. Только никто в точности не знает, которая из них есть что: быть может, как раз именно смерть есть жизнь, а жизнь — смерть?

Убитый останавливается в углу, ежась и кутаясь в брезент, конец которого волочится по полу, и смеется. — «Чему ты смеешься?» — изумляется лейтенант. То, что мертвый ожил, — это несущественно; удивительно то, что он смеется. — «В самом деле, чему я смеюсь?» — дивится в свою очередь убитый. Жметесь в углу, как наказанный ребенок, кутается в брезент, как ночной сторож, и смеется. А наверху, на улице, в городе, рыщет ветер, всюду сует нос, как свора бродячих собак, воет, скулит, усердно, отчаянно разыскивает что-то безнадежно, навеки им утраченное, затерянное из-за своего же небрежения. Что он потерял, интересно? Или, быть может, сам потерял — кем? Когда же он уймется? Дедушка говорит, с тех пор, как американцы сбросили бомбу в Японии, все в природе изменилось. А бабушка с ним не согласна. Бабушка говорит, вот если бы в это время года не дул ветер, тогда надо было бы удивляться. И в молодости моей, говорит упрямо, было точно так же. Ни во что старое, говорит, мы уже не верим, а ветер все дует по-старому. Люди забились в дома, угрелись в постелях — и притихнув, замерев, дожидаются, когда стихнет ветер. Притихнуть, замереть, дожидаться тоже надо уметь, это тоже талант. Чего не можешь догнать — сиди и дожидайся, — говорит дедушка. А тот, убитый, вылетел из старой церкви, словно взбесившись: вот, мол, я, стреляйте в меня! А теперь сам смеется над своим нетерпением: «Что это я выскочил из церкви, как сумасшедший, пожалуй, даже испугал вас немножко!» — «Не думай только, что это я на тебя милицию навел», — кричит ему Нико из своей постели, не разжимая губ, но никто его не слышит, убитый даже не смотрит в его сторону, он имеет дело только с лейтенантом, и он прав: лейтенант проводит в подвале около него бессонную ночь, а Нико нежится в своей постели. Убитый все смеется и говорит лейтенанту: «Отстань от меня, ведь покойнику полагается покой, я никого не обвиняю, ни на кого не жа-



лююсь, не мучит меня ни раскаяние, ни жажда мести, / я уже покончил счеты со здешним миром».

— Одно только меня удивляет, — продолжает он через минуту, по-прежнему со смехом. — Почему вы так запросто, не глядя и не задумываясь, отправили меня на тот свет? Хоть бы именем моим поинтересовались — может, и не стоило труда птичку ощипывать?

— Ты прав, — соглашается с горячностью лейтенант. — Вот почему я и не могу уйти домой — совесть не позволяет...

— Ну, значит, не все для меня потеряно, — смеется убитый, успокаивает — это он-то, жертва, — лейтенанта. — Покуда человека беспокоит совесть, ему еще можно помочь, ведь главное не то, что Бог следил его из праха, а то, что он вдунул свой дух в этот прах.

— Ну, а в самом деле, кто ты такой? Как твое имя? — осторожно, как бы вскользь, спрашивает лейтенант.

— Зовут меня Тантрэ, я искал потерянного осла, а напоролся на вашего остолопа Гогия, — смеется убитый.

— Я тебя взаправду спрашиваю, мне не до шуток! — распаляется вдруг лейтенант.

А убитый все смеется: «Не поздновато ли правду теперь искать?»

В эту самую минуту наверху, над лестницей, со скрипом открывается дверь, убитый лоспешно возвращается на свое место и, накрывшись брезентом, укладывается плашмя, лицом вверх, скрестив руки на груди, на ледяные плиты, как лежал раньше, до того, как приподнялся и сказал лейтенанту: «Что тебе от меня нужно, добрый человек, почему не оставляешь меня в покое?» А лейтенант усаживается по-прежнему на полу в ногах у накрытого брезентом трупа и вглядывается в лестницу, весь обратившись во внимание, в ожидание — пожалуй, немного раздраженный оттого, что спугнули его мертвеца, прервали едва наладившуюся было беседу. А ведь мертвец мог рассказать, кто он такой, он явно настроился на исповедь, и тут-то как раз и захотелось Георгию Упарашвили (еще раз!) показать свое усердие перед начальником — смотрите, мол, какой я внимательный подчиненный, бодрствую вместе с вами, провожу, как вы, здесь бессонную ночь. «Между прочим, излишнее, показное рвение тоже часто портит дело», — думает с досадой лейтенант. Между тем ступени лестницы по-



степенно озаряются неверным, колеблющимся тревожным светом. Лейтенант ждет появления Георгия Упарашвили, но на этот раз по лестнице спускается Ламара, его беременная жена. В одной руке у нее коптилка, другую она поддерживает у колен полы халата. Под халатом надеты на ней бумазейные шаровары в цветочек. Впрочем, как в такой тьме различить, что надето на Ламаре под халатом? Что надето, то и надето. Главное не это, главное то, что она пришла проведать мужа, что сердце не вытерпело, и ничто ее не могло остановить — ни ночь, ни тьма, ни ветер, ни беременность — она побежала к мужу потому, что ему могло быть трудно, тяжело, потому что он мог нуждаться в сочувствии друга, близкого человека. Честь и слава ее женскому сердцу. Значит есть еще на свете достойные женщины! Мрак, разодранный на клочья неверным светом коптилки, кидается из стороны в сторону, от стены к стене. То как бы темный призрак, десятикратно увеличенная тень человека, сидящего перед завернутым в брезент трупом, пробежит по стене, как по экрану, то огромная тень самого этого трупа под брезентом, похожая на могильный холм какого-то дэва-великана. Призраки вытягиваются, удлиняются, утончаются, разделяются и соединяются снова. Ламара останавливается на середине лестницы и, наклонившись вперед, всматривается в глубину подвала. — «Роланд! Роланд!» — зовет она нерешительно. А лейтенант, обняв руками свои колени, закидывает голову и смотрит на свою жену, смотрит во все глаза, словно это не жена его, а кто-то играет ее роль, только он, хоть и старается, а не может отгадать, кто же так похоже ее изображает (между прочим, в отличие от батумского театра, в здешнем театре главное — это узнать актера; вместо того, чтобы слушать, что говорит тот или другой актер, все только и знают, что спорят, Сико это или Гигуша. И сами актеры не столько стремятся выучить роли, сколько стараются загримироваться и одеться так, чтобы зрители по крайней мере затруднились их узнать — и ни на минуту не прекращаются во время представления громкий смех, говор, хохот как в зале, так и на сцене; но еще не было случая, чтобы какому-нибудь актеру удалось выиграть эту игру у зала и до конца оставить его одураченным), безмолвно взирает он на свою жену, которая приостановилась на лестнице с мерцаю-




шей коптилкой в руке, придерживая другой рукой полы халата и, как всамделишная актриса, всматривается в темноту подвала. Она уже нашла взглядом, различила в сумраке своего мужа и несколько успокоилась, больше не окликает, не зовет его. Теперь, по закону, должен встрепенуться муж, должен вскочить, броситься навстречу: семейная жизнь ведь тоже своего рода театр, супружество — борьба за превосходство, и муж, оказывается, только об одном и думает, как бы приучить жену к ее месту, как щенка к его подстилке и его кости. Но жена, оказывается, все рвется с привязи, стремится все вверх, все выше и выше, и не успокаивается до тех пор, пока не принудит мужа взяться за плетку или не заставит добавить к подстилке еще подстилку и к кости другую кость. Все зависит от того, кто окажется настойчивей и тверже. Так было, и так будет всегда, говорит дедушка. И в самом деле — «Ламара!» — восклицает тронутый чуткостью и верностью жены лейтенант, вскакивает с места, взбегает по лестнице навстречу ей, любовно, бережно обвивает рукой ее порядком раздавшуюся талию и — теперь уже не бегом, а медленно, словно нерешительно, спускается осторожно по ступеням, вместе с женой, вдвоем. И по пути ласково выговаривает ей: с чего это среди ночи понесло ее на улицу; ведь какой сильный ветер; а ей простужаться никак нельзя; она должна беречься и беречься; а у него самого забот и так хватит — он кивает в сторону покрытого брезентом трупа, но вдруг замечает, что глаза у его жены заплаканы, и сердце у него обрывается: «Отчего ты заплаканная, Ламара?» — восклицает он дрожащим голосом. Джокола ведь тоже спрашивает свою жену, отчего она заплаканная, так как очень хочет, чтобы она горевала по чужому человеку, вернее, очень хочет, чтобы оправдалось его предположение, чтобы не обмануло его сердце предчувствие, — ведь он хорошо знает свою Агазу и уверен, что она не ошибется, поступит так, как должна поступить, как ей велит ее женское достоинство. Что ж, что он чужой? Если ты женщина достойная, то должна оплакать мертвого героя, кем бы он ни был. Смерти горе подобает. Помнишь? Еще в школе мы учили! Смерти горе подобает... А дальше? Как дальше? Не помню, — он мнет пальцами лоб, тщетно пытаюсь вспомнить давно позабытые стихи. — «Чего ты тут сидишь, почему домой не идешь?




— прерывает его Ламара. — Чего только я ни подумала, чего только ни вообразила... Боюсь, Роланд! Нет, не говори. Я все знаю (разумеется, знает, весь город ни о чем другом не судачит, наверно). Но разве мы виноваты? Разве ты виноват? Нет на тебе вины, Роланд. Случалось и раньше такое, и еще не раз случится, но я ничего не знаю, и знать не хочу, Роланд. Я знаю только то, что знаю, то, что мне нужно и достаточно знать. Знаю, что я женщина, знаю, что у меня есть муж, знаю, что у меня будет ребенок. Сколько ни старайтесь, сверх этого ничего не сможете мне внушить. Недаром называл меня отец простачкой. — «Простота ты моя!» — говорил он, словно радовался моему неразумию. И не «словно», по-настоящему радовался, потому что был он мне отцом и душой болел за меня. Женщина должна быть простовата, если хочет быть женщиной — матерью, женой, хозяйкой. Геометрия и история — не мое дело, Роланд. Что мне до того, когда Помпей вторгся в Грузию? Если вторгся, то вы, мужчины, виноваты. Я должна стирать детские пеленки, штопать твои носки, варить обед, подметать в доме и постоянно думать о том, чем бы еще заняться, как бы сделать приятное моим повелителям. Женщина счастлива тогда, когда чувствует себя подданной своего мужа и своих детей. Потому что добровольное подданство — та же любовь. Служишь тем, кого любишь, — а не потому что таков женский удел, как некоторые говорят. Я их не слушаю и не интересуют меня их разговоры. Вон, Евгения Дугладзе — заведующая учебной частью, и папиросы курит, и вино пьет, ни в чем от мужчин не отстает, и все же, если по правде, так она несчастная и, ведает Бог, заслуживает жалости. Если женщина, заглянув в зеркало, не увидит там и призрака женственности, то конечно она несчастна и конечно ее нужно пожалеть. Однажды... не должна я этого говорить, но у меня все в голове перепуталось, Бог наверно меня простит — однажды, говорят, — она, напившись, посмотрела в зеркало и закричала: «Кто это? Откуда ты взялась и чего на меня вызверилась?» Если женщина своих детей не хочет иметь, зачем ей чужих воспитывать, да и как она сумеет их воспитать? Женщина бывает зла, Роланд, и завистлива. Если своих детей у нее нет, всячески будет стараться, чтобы и у других не было, или так чужих детей обрабатывает, что и родная мать





от них отвернется: «Лучше бы я вместо тебя щенка родила», — и рукою в кольцах ударит в лицо, прямо по губам... Впрочем, не время сейчас об этом. Вечный покой моему отцу, а я совсем одурела, вместо того, чтобы как-нибудь выманить тебя отсюда, отвести тебя домой, успокоить, отогреть, накормить, развеселить, — я тут принялась сплетничать о Евгении Дугладзе. Да пусть она шею себе сломает! Какое мне дело до нее, пусть хоть наденет галифе да нарисует на лице усы и бороду! А мы, давай, не будем сходить со своего пути, и куда он нас приведет, там и останемся. Не сегодня-завтра будет у нас ребенок, малыш, козлик, зайка, киска. Ты мальчика хочешь или девочку? Нет, не отвечай! Не отвечай! Прости меня. Разумеется, все равно. Что нам Бог пошлет, за то и будем благодарны. А впрочем, оно, дитя, уже есть, уже существует, уже знает тебя и даже любит. Когда мы одни, только о тебе и беседуем. Оно все понимает — я не потому так говорю, что оно мое, в самом деле все понимает. Когда я волнуюсь, волнуется и оно. Когда мне страшно, страшно и ему. Если у меня бессонница, не спится и ему. Роланд, милый, отведи меня домой. Отведи нас. Мне нехорошо, Роланд, голова кружится. Сегодня мне два раза стало дурно, от одиночества, от страхов, от ожидания... О себе я не печалюсь — как бы ему не повредить», — Ламара виснет на шее у лейтенанта, как будто ей в самом деле дурно. Обманывает мужа, пугает для его же пользы — может, как-нибудь удастся увести его прочь, взлететь с ним на свет Божий из этого промерзшего подземелья. И уведет, и взлетит — она и есть птица Фаскунджи лейтенанта. Одни мечты никого еще не извлекали из преисподней. Но только надо скормить Фаскунджи немного собственного мяса, своей рукою вырезать кусок из собственного бедра и своей же рукою вложить его в рот ненасытной птице, — если хочешь, чтобы она вывела тебя из преисподней, если хочешь подняться когда-нибудь на свет Божий, пройтись по свету, оглядеться в мире, избавиться от вечных мрака и сырости, от терзающих мыслей. Но поднявшись на свет Божий, ты сразу станешь таким же, как все люди, живущие вокруг тебя. Ну и что же, чем это плохо, — спросишь ты и будешь прав: не только не плохо, но, напротив, хорошо. Вокруг тебя все — обыкновенные люди: и дедушка, и бабушка, и тетя, и дядя





Сандро, и Маргарита, и Иосеба, и Кола-полоумный, и Евгения Дугладзе, и Вану-учитель, и Гогия. Словом, все. Человек вообще — обыкновенен, и таким он должен быть, обыкновенным, то есть немного смелым и немного трусливым, немного щедрым и немного скупым, немного добрым и немного злым, немного умным и немного глупым, немного счастливым и немного несчастным — именно оттого, что «немного», и может человек устоять, выдержать; все, чего много — вредно, «много» человек, даже если очень захочет, не может осилить, что бы это ни было: много любви или много ненависти, большое богатство или большая бедность, так что и в самом деле, ничего страшного, если ты окажешься обыкновенным человеком, если не оправдаешь предсказания цыганки с открытой грудью и так же, как все другие, будешь заботиться лишь о своем брюхе. Правду говорит Ламара: так было и так будет всегда, но ведь не твоя же вина, да и не твое вообще дело, кто кого убивает, кто кого грабит и кто чей сообщник. Хоть один Гитлер, хоть один Урия Гип, хоть одна свинья-людоед всегда должны быть на свете — и будут всегда. То, что написано в сказках, взято из жизни, только человек боится правды и всячески выворачивает ее — свое коварство приписывает лисице, свою жадность — волку, словно он таким путем очистится, исцелится и станет таким же непорочным, как животное, а животное станет таким же порочным, как он. Что в тебе хорошо — то мне, а что во мне дурно — то тебе. Но прежде, чем он не отвыкнет скрывать и сваливать на других свои недостатки и пороки, он не сможет избавиться ни от Гитлера, ни от Урии Гипа, ни от свиньи-людоеда. Ведь вот, чуть было и в самом деле не сожрала свинья тетушку Маню! Всю искусала, так что пришлось бедную в больницу уложить. Сын у нее в Тбилиси — большой человек, так он приехал со столичным врачом. На здешних врачей не стал полагаться. А что делать тем, у кого сыновья не вышли в большие люди? Придется здешним врачам довериться — иного пути нет. А тот, большой человек, даже не стал поезда дожидаться, и правильно сделал: всякий знает, что такое кахетинский поезд: как начнет, дыхтя, взбираться по подъему, пассажиры соскакивают и идут рядом с ним, как с тележкой, запряженной ослом. Да еще подталкивают, упираются в него руками. Напрасный расход,



да и только. Но что же делать? Все ездят поездом, нельзя же поступать не как все, ведь кто-нибудь да скажет: что это, мол, за скупердяи! Но если бы не бояться насмешек, то пошли бы от самого Тбилиси до шпалам и, может быть, раньше поезда добрались бы до Цнори. А тот, большой человек, сперва прилетел в Телави на самолете, а там, в Телави, нанял машину — и не просто машину, а целый автобус (они-то и раздавили на дороге волка). Словом, так он торопился, так хотел поспеть вовремя, оказать помощь матери, что ни перед чем не отступил. А когда мать оказалась вне опасности, закатил дир горой, покутил на славу, с гармонистом и барабанщиком, по-тбилиски,—музыканты не успевали подбирать смятые десятирублевки. Но тетушка Маня, говорят, не оценила сыновней заботы и уважения и сказала: «Если б ты на те деньги, что извел на музыкантов, купил бы вовремя жмыхов в корм для свиньи, может, она и не попыталась бы меня сожрать».

Вдруг убитый снова скидывает с себя брезент и встает на ноги (брезент он оставляет на этот раз на полу — стесняется показаться закутанным в него незнакомой женщине). А Ламара при виде этого забывает о своем притворном обмороке и даже о своей беременности и громко, пронзительно вскрикивает — так громко, что перепуганные летучие мыши, сразу очнувшись от своей зимней спячки, срываются с мест, вылетают из углов, и в беспорядке носятся по сумрачному подвалу. Все помещение вдруг наполняется летучими мышами (как знать, может, оттуда прилетели они и сюда, к Нико в дом). Они тонко, тревожно пищат. В чем дело? Что случилось? Что за существо? У кого может быть такой голос? Кто это не спит в такой холод? Пищат тоненько, встревоженно, никак не отыщут ни прежних, обжитых мест, ни новых, таких же уютных. Поделом! Зачем побрезговали своим мышиным естеством? Сидели бы сейчас в своих норках, в тепле, в покое, в безмятежности, забившись глубоко, глубоко, как можно глубже, как можно дальше от опасностей, от беды, чтобы беда не могла найти их, пока они сами не попадутся ей на зубы. Впрочем, кто знает, где лучше — на земле или в земле? Эх, что на земле, что в земле, все одно. Земля превращается в человека, человек превращается в землю. Из земли сотворен и в землю вернешься. Земля



требует своего — и все же, пока ты на ней... лучше быть поверх земли. Мы как будто любим землю, и все же скорее боимся земли. «Страх порождает любовь» — об этом, наверно, сказано. Под притворным равнодушием скрываем страх. И все-таки конец будет хороший — так вот, бесследно не исчезают, уходя с земли. Но сперва ты должен что-то представлять собой здесь, — и тогда земля примет тебя. Что-то ты должен здесь, на земле, сделать или хоть учинить. Убежать в разбойники назло учительнице-стихоненавистнице, да и то всего на два дня — этого мало, это не в счет.

«Не бойся, — говорит убитый Ламаре, — все, что ты видишь, на самом деле происходит не здесь, а в воображении одного трусливого мальчишки». Но Ламара все цепляется за мужа. Она все еще боится, но уже с женским любопытством разглядывает убитого. Если злой человек остается и в Дании злым человеком, то и обыкновенная женщина остается в воображении трусливого мальчишки обыкновенной женщиной. «Мертвый встал, ждатель не стал, — смеется убитый над самим собой. — Знаете, какую сказку я любил в детстве больше всех? — спрашивает он вдруг Ламару; лейтенанта он словно и вовсе теперь не замечает (по словам дедушки, женщина море может поджечь). — Ту, в которой ребенок украл у смерти коня. Не помните? Не рассказывали вам?» — «Как же, наверно, рассказывали...» — рассеянно отвечает Ламара. — «Ну, так как же она кончается?» — испытывает ее убитый (так обычно горбунья Кето, библиотекаря, всякий раз, как возвращаешь ей книгу, непременно спрашивает — как там все кончается; потому что знает прекрасно: во всех библиотечных книгах не хватает последних листов). — «Что? Что именно кончается?» — вмешивается в разговор лейтенант. Напоминает о себе убитому: вот, мол, и я здесь. А убитый то и дело поправляет ворот своего пальто. Он сейчас весь — учтивость, чуткость, воспитанность. Так лишь раньше, в старину, в незапамятные времена разговаривали мужчины с женщинами. Но лейтенант прежде всего и сам — мужчина, и как бы ни было ему приятно такое обращение с его беременной женой, он не может бросить ее одну с чужим. Ну да — чужак есть чужак, хоть живой, хоть




мертвый. Иными словами, чужак, как живой, так и мертвый, доверия не заслуживает. — «Сказка. Я о сказке, в которой мальчик украл у смерти лошадь», — отвечает убитый лейтенанту, глядя, однако, по-прежнему в лицо Ламаре. — «Не помню. Не знаю. До сказок ли сейчас?» — говорит лейтенант. — «А мне нравится», — говорит вместо мужа убитому Ламара. — «Когда моя лошадь взлетела с тобой под небеса, что ты оттуда увидел, спросила мальчика смерть, — рассказывает убитый сказку Ламаре. — Землю, ответил мальчик, она была величиной с яйцо. Что ж, сынок, сказала смерть, неужели я на этой крохотной земле не отыскала бы тебя даже без лошади? Вспомнили теперь? Впрочем, неважно, главное это то, что на этой маленькой, как яйцо, земле ты нигде не спрячешься от смерти. Нет, и это не главное. Это хорошо. Плохо, когда смерть становится желанной. Опять я неточно говорю. Плохо, когда ты мертв и сам этого не знаешь. И, главное, никто другой тоже не знает, мертв ты или жив и вообще кто ты такой. Когда все давно забыли, никто уже не знает, кто ты. Каждый, говорят, умирает прежде всего для самого себя, — но окончательно, навсегда он умирает тогда, когда все его забудут, когда всем уже безразлично, жив он или умер. Если мертвого кто-нибудь вспоминает, — у него еще есть будущее. Вместе с вспоминающим он переходит в завтрашний день. Самая горькая смерть — это именно смерть, лишенная будущего. Нет ничего ужасней! Не дай вам Бог это испытать. Вокруг тебя ничего не меняется, не меняешься и ты сам. Даже облака — и те словно гвоздями прибиты к небосводу. Сидишь у окна, глядишь в пустоту и не можешь разобраться, — какая из двух большая пустота — та, куда ты смотришь, или та, какую ты представляешь собой. Очень много требуется времени, чтобы это выяснить. А время больше не существует, остановилось его круговращение. Оно перешло из прошлого в настоящее, но чтобы вернуться в прошлое оно должно сначала пройти через будущее. А будущего нет, не существует, потому что тебя никто не помнит и ты никого не помнишь. Ты ничего больше собой не представляешь: нет у тебя ни дня рождения, ни дня смерти, ни дня встречи с родителями, ни дня отм-



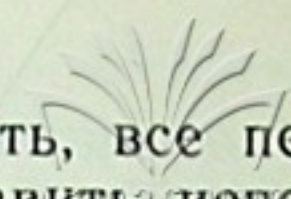
щения, потому что ты ничего этого не знаешь: ни жизни, ни смерти, ни родителей, ни врагов — ты всего лишь кукла, выставленная в окне. Разве стоит жалеть о жизни такого человека?» — «Стоит, — не отвечает, — говорит сам себе, про себя лейтенант, погруженный в свои мысли, так, словно вспоминает что-то, словно и раньше слышал что-то похожее, слышал, или читал, только где и когда, не может восстановить в памяти. — Стоит жалеть, — повторяет он печально и твердо. — Для смерти всех жалко». — «Если бы кто-нибудь пожалел, то и постарался бы помочь. Уведенного смертью еще можно вернуть. Надо только очень хотеть и не полениться», — смеется убитый. Что правда, то правда! Нико сам был свидетелем такого чуда. Еще в Батуми, еще до войны... Ему было года четыре или пять, но он и сейчас явственно помнит тот день. Даже звуки тогдашнего еще стоят у него в ушах. Например, звук воды, хлещущей из отвернутого до конца крана, плеск ее в ванне, где носятся только что, перед глазами Нико, воскресшие, восставшие из мертвых рыбы. Эту рыбу час тому назад купили на базаре Нико и его отец — долго ходили между серебристо-блестящими прилавками, пока не отобрали именно их. Нико прекрасно помнит, как он был доволен покупкой. Он даже не дал маме выгрузить их из сумки, хотя сам еле мог удержать в руках довольно тяжелых, скользких рыбин и даже, пока донес до стола, раза два выронил их. — «Оставь, зачем ты пачкаешься», — сказала ему мама. Потом надела фартук, взяла нож для скребки рыбы и вдруг, то ли с испугом, то ли в восторге, вскричала: «Живая! Дышит!» Услышав неожиданный возглас мамы, пришел на кухню папа. Он был в домашних туфлях, но еще в выходном сером костюме и при красном галстуке. В одной руке он держал развернутую газету, а другой уперся в кухонную дверь и сказал: «Что это вы не можете вдвоем справиться с двумя несчастными рыбешками?» — «Смотри — дышит!» — указывая ножом на рыб, повторила мама. — «Очень хорошо, значит — свежая», — улыбнулся папа. Что он еще говорил, Нико не помнит, так как не слушал: весь превратившись во внимание, он смотрел на рыб и ждал, затаив дыхание, когда они начнут дышать. Скрюченный, безжизненный хвост одной лежал на белом,





блестящем брюхе другой. Потом папа наполнил ванну водой и бросил в нее рыб. Они все вместе, втроем, теснились в ванной, путались в ногах друг у друга, но были так захвачены своим непривычным занятием, что и не замечали друг друга — внимание каждого было устремлено на рыб в ванне. А рыбы сперва кружились, ворочались, как обычные, неживые предметы, в бурлящей, пузырящейся воде, но скоро, гораздо раньше, чем этого ждали наблюдатели, одна из рыб открыла рот и зашевелила жабрами. Через минуту у нее задвигались плавники, но она не сумела сразу развернуться и поплыла как-то боком — видно, плавники были у нее повреждены. Но вскоре выправилась, обрела равновесие, набралась сил и несколько раз с живостью, быстро проплыла по кругу вдоль стенок ванны — словно хотела измерить, обследовать, изучить свое новое обиталище. Тем временем и вторая рыба открыла и закрыла рот, зашевелила жабрами, потом так же осторожно, нерешительно задвигала плавниками и вскоре поплыла рядом с подругой, с сотоварищем по необычно, поистине странной своей судьбе. Больше они уже не разлучались, не отдалялись друг от друга — казалось, они впряжены в одно невидимое ярмо. Словно заранее условившись, неразлучные, почти прижатые друг к другу, с одинаковой скоростью, одинаково носились, скользили они в воде — как будто дрессированные, и, глядя на них, трудно было поверить, что всего час или полтора назад они валялись бездыханные на прилавке, отполированном до блеска чешуею тысяч и тысяч их сестер. — «Посмотри на них! Совсем как ты с Еленицей», — сказал Нико папа. А мама сняла передник, бросила его на отложенный нож и решительно заявила: «Хоть умрите голодной смертью — а этих рыб я вам не изжарю!» Рыбы и на следующий день плавали в ванне. Когда ванна оказывалась нужна, их на время переселяли в большой таз, служивший для мытья ног. А потом они исчезли — видно, мама попросила кого-то выпустить их в море. — «Знаете, что самое главное? — говорит убитый. — Мы не должны умирать раньше смерти. Смерть всегда возьмет свое — не надо ей ничего отдавать сверх того. Все равно она не может унести, не осилит, растеряет по дороге. Мертвые останутся тут, на земле, смешаются с живы-






ми, и постепенно станет трудно их различать, все перепутается. После этого, хоть мертвого оставить непохороненным, хоть живого похоронить — будет все одно», — он одновременно обращается и к Ламаре, и к лейтанту. Но в это самое время где-то наверху, в мире живых, раздаётся пение петуха и все трое (все четверо) напряженно вглядываются в своды подвала. Это уже наверняка не петух Ильи-пророка, а петух Маргариты, взлетевший не на жердочку воображения Нико, а на козлы повозки Иосеба. — «Вон он! Вон он! — поднимает руку убитый, показывая туда, откуда доносится голос петуха. — Для вас поет. Вас ищет. Не досчитался вас. Не нашел вас там, где искал, где вы должны быть по закону. И потому так иступленно поет. Пока не увидит вас, не успокоится. Ну, Бог вам в помощь. Всему свое время, и все имеет свой конец. Что делать — пока не утихомирится, не войдет в свое обычное русло взбаламученная жизнь, трудно разобрать, кто прав и кто виноват. Нужда растлевает человека, учит его хитрости и изворотливости. На что он только не пойдет, чтобы не оказаться раздавленным в трудные, беспокойные времена! А потом, когда спустится сюда, жалеет, — но поздно уже жалеть, время упущено. Раскаяние нужно там, наверху, — говорит он с хватающей за душу тоской. — Убитый сердце всем пронзил, — добавляет он со смехом. — Как там дальше? И я не помню. Убитый сердце всем пронзил. Ну, а в общем бить тревогу незачем. Все вы обыкновенные люди и должны быть такими, обыкновенными; не дай вам Бог понимать больше, чем вы понимаете; а желать меньшего, чем вы желаете. Именно это несоответствие вашего знания и ваших желаний не дает нарушаться равновесию мира. Не предавайтесь печали. Живите, пока время ваше. То есть, страдайте — хотел я сказать».

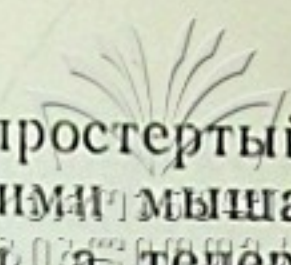
А петух поет — протяжно, зычно, как подобает петуху. Разумеется, это петух Маргариты. Он всегда подает голос первым. Другие петухи — из крепостного квартала, из Дабаханы, лишь потом начинают вторить ему. И не только они — даже дальние, нукрианские петухи дожидаются, пока он запоеет. Похоже, что на исходе первая и поэтому самая опасная ночь болезни. Внезапно убитый падает на колени и, простирая руки





к Ламаре, страстно, жарко восклицает: «Исполни мою последнюю просьбу». Ламара вздрагивает в замешательстве. В самом деле — как тут быть? Как согласиться или как отказать в просьбе мертвому человеку? В конце концов, это обязанность — исполнить все, о чем бы он ни попросил. — «Дай мне услышать в последний раз голос жизни, сестра, голос будущего», — молит Ламару убитый, коленапреклоненный на сваленном брезенте. Ламара согласна, только не понимает, чего от нее хотят, что она должна сделать, чтобы удовлетворить эту странную просьбу мертвеца. Расгерьанно улыбаясь, она смотрит то на убитого, простирающего к ней руки, то на мужа, стоящего в стороне. Тогда убитый выползает на коленях из вороха брезента, подползает к Ламаре и прикладывает ухо к ее заметно выпяченному животу, так, словно оба они — дети, играющие во врача и пациента. Улыбка постепенно раздвигает губы убитого, озаряет его лицо. — «Бабли-библи-бебли-бубли» — зовет грядущая жизнь из материнской утробы. — «Бабли-библи-бебли-бубли» — отвечает уже завершенная, прошедшая жизнь. Одна еще не научилась говорить, другая уже разучилась, забыла, не нуждается больше в речи. Между ними пролегли пять тысяч лет, если не больше, а все же они прекрасно понимают друг друга. — «Роланд! Роланд!» — зовет дрожащим голосом полная счастья и гордости Ламара. Но как сказал убитый, все имеет конец. Все завершается — плохо ли, хорошо ли. Наверное, и смерть. Возможно, что и крошечную ночь смерти когда-нибудь сменит рассвет. — «Пусть отвалится у меня нос, если сейчас не светает», — думает Нико. И в самом деле, в проеме окна вместо черного, бархатистого мрака виднеется сейчас иной, синий, взлохмаченный мрак. Да, да. мрак ведь тоже бывает разным. Мрак не обязательно означает смерть, разве не мрак и сама любовь? Есть мрак начала и есть мрак конца. Мы никогда не должны терять надежду, надежда всегда должна быть с нами, как при солдате — фляга, при шахтере — лампа, при альпинисте — ледоруб. Да не отнимет Бог у тебя надежды — так благословляют люди друг друга. Умереть, храня надежду, — легко, но нельзя все же сказать, что приятно. Лежишь пластом, а главное — сложенными на груди руками и, что еще главнее, обга-





женный летучими мышами. Впрочем, тот, простертый, со сложенными руками и обгаженный летучими мышами, — это не Нико, когда-то Нико был им, а теперь смотрит на него сверху, как пламя на золу. Но и сверху он ничего не видит хорошего, вселяющего надежду: все спят, а он мертв. Дедушка еще не вернулся, наверно, не знает еще. Тем лучше, а то прежде, чем добратся сюда из Цнори, он десять раз умер бы от страха. А страшного ничего нет. Вот только забыли закрыть форточку на ночь, и воздух в комнате замерз, как замерзает вода в Северном Ледовитом океане. А может быть, это ветер распахнул форточку и заодно с холодом намел в комнату сухих листьев, принес сюда все, какие нашлись где-нибудь в округе. Мертвые листья — мертвецу. Разумное решение: сплетет себе венок, все-таки — развлечение. Но мертвые листья почему-то ожили, верно, погнушались звания сухих листьев и, превратившись в летучих мышей, оглушают все вокруг назойливым писком. Нико все слышит, видит, чувствует, но не знает, почему он слышит то, что слышит, видит то, что видит, и чувствует то, что чувствует. Одно только он знает твердо: все, что осталось внизу — это прежний он, и все, что наверху — тоже он сам. Детям, оказывается, свойствен глубокий сон. Вот еще одно подтверждение того, что Нико уже не ребенок, или, еще хуже, что он никогда и не был ребенком. Глубокий сон ему недоступен. Зато он мастер спать с открытыми глазами, как заяц, готовый в любую минуту вскочить, сорваться с места. Привычка эта образовалась у него еще в Батуми, где он постоянно, беспрестанно дожидался возвращения матери: когда-то она придет, с какими вестями? Вечно, вечно, непрестанно терзал его страх — как бы не проспать, не опоздать, занять вовремя очередь за керосином или за хлебом. Так и проходило время — в страхе, в ожидании, в тревоге. А у Деда Мороза истлели в сумке подарки, приготовленные для Нико, побоялся он спуститься на землю, пока здесь бушевала война. Испугался — как бы и в него не всадили пулю. Но протекшее время сам дьявол не сможет обратить вспять. А потому Нико должен «убить в себе тоску по временам минувшим» и, насколько это в его силах, подобно летуху и собаке, способст-



воват лаем и пением наступлению дня. Может, и в самом деле настанет когда-нибудь конец этой беспредельной ночи! Но чего можно требовать от Нико, чем он может помочь собаке и петуху, — ведь он не умеет ни лаять, как собака, ни петь, как петух. Впрочем, как это — чем он может помочь! Разве то, что он прислушивается к их голосам, а не делает глухое ухо, уже само по себе — не помощь? Они ведь лают и поют и для него, Нико, для того, чтобы он их слышал! Лают для Нико и поют для Нико, в первую очередь для Нико, чтобы он победил, преодолел неожиданную, непредвиденную смерть; они просят, обязывают, принуждают Нико очнуться от грез раз и навсегда, отделить от всего приснившегося, привидевшегося, воображаемого то, что видено, испытано и перенесено им на самом деле, — но для этого Нико еще не имеет сил, он еще немощен, и в его сознании по-прежнему мешаются, наплывают друг на друга разбойник, выбегающий из старой церкви, и мертвая черепаха, гроб отца Кола-полоумного и синеватый колокольчиками луг, окровавленная рука Гогия и автобус в погоне за волком, рыбы, носящиеся в ванне, и нукрианский Мафусаил, непрестанно мигающие веки слепцов и блестящее, как шлем, лицо отца в больничных сумерках. И Нико произвольно, но и не без удовольствия, кружит среди этих странных грез, дум, видений, снов и по-прежнему уверен лишь в одном: жив он или мертв, — все равно. Вот почему поет Маргаритин петух так истошно, так громко, словно рог охотника или рыцаря, — он зовет, призывает, напоминает. А бездомный пес вообще не умолкал ни на минуту, так и лает всю ночь напролет, всеобщий и ничей страж. Не смилостивься над ним Бог в дни сотворения, что бы с ним, несчастным, случилось, как бы он выдержал тридцатилетнюю жизнь? Может, и сейчас она уже стала ему невыносима... Сколько ему лет, по-вашему? Когда Нико привезли из Батуми, пес уже был здесь, бегал по улицам и встретил гостя, как старого друга, перевернулся на спину, покатился ему под ноги и в конец испачкал натертый до блеска пол. — «Убирайся вон, бродяжка!» — прикрикнула на него бабушка — и выставила его с трудом. А значит, бабушка уже знала, что у него нет хозяина и, более того, при-



выкла к его необычной ласковости, которая, пожалуй, даже немного приелась ей. А для этого нужно немалое время, в особенности для такой добросердечной, благожелательной женщины, как бабушка — хотя бы три или четыре года. А если к тем трем-четырем годам прибавить еще три (Нико ведь уже четвертый год, как живет здесь), то получится, что псу, самое меньшее, семь или восемь лет, и, по счастью, ему уже не так долго осталось терпеть. Скоро придет ему избавление. Прощайте, пинки и камни! Наверно, ничего другого он и не может вспомнить. Ровным счетом ничего. Только пинки, только бросаемые в него камешки и ругань. Ах ты бездомный! Ах ты бродяга! Ах ты постылый! Словно его вина, что он остался без хозяина, что никому он оказался не нужен, никого не разжалобили его сиротство, его заброшенность, его скулеж и повизгивание. Как будто не человек повернулся к нему спиной, а он к человеку! Как будто не человек погнушался им, а он — человеком! А впрочем, он все не теряет надежды, что когда-нибудь растает лед равнодушия, человек осознает свое человеческое назначение и не врагом, не соперником явится животному, а защитником и покровителем, как в ненависти, так и в любви. Вот почему столь усердно старается он выказать свою природу, свое естество собаки, — то у кого-то лает во дворе, то бегаёт вокруг чьей-то усадьбы, сторожит чужое добро. И однако, пока что не сумел устроить свою песью судьбу, не получил в свое владение клочок земли, где была бы брошена его собственная, ему одному предназначенная подстилка, на которой он мог бы валяться — хотя бы как Гогин дядя, — грызя и посасывая пожалованную хозяином кость, в покое и безопасности, а не в вечном страхе — как бы Петр не рассердился оттого, что я грызу у него во дворе кость, брошенную Павлом. У собаки ведь тоже должно быть свое место — согретое собственным ее теплом, пропахшее ее запахом, где она может лечь, уснуть, где она протянет лапы... Протянуть ноги Нико, пожалуй, и впору, но вот насчет того, чтобы заснуть — это потрудней. Впрочем, наверно, все не так просто — время от времени он, должно быть, все же погружается в дремоту, чтобы увидеть очередной причудливый сон. Вот сейчас, например,



ему снится меловая корова. Не белая, как мел, а именно меловая. Все у нее из мела — и рога, и копыта... Она вся изваяна из мела, только есть в ней жизнь, она живая и, главное, ненавидит Нико, преследует его, хочет убить. Наставляет на него меловые рога, сверкает меловыми глазами, извергает меловую пыль из меловых ноздрей и меловыми копытами роет землю. Все вокруг, докуда достает взгляд Нико, бело, обсыпано крошеным мелом. Крошенный мел лежит на всей земле, как снеговой покров. А Нико будто бы прячется в винограднике дедушки Гиго от этой новой удивительной напасти. Как он оказался в Карданахи — неясно, механик снов не показал этого, но то, что Нико и дедушка Гиго наяву большие друзья, видимо, обнаружилось и во сне. И в самом деле, виноградник дедушки Гиго оказался самым надежным убежищем, — не осмелилась меловая корова ворваться в него, испугалась отягченного гроздьями, распаренного от солнечного жара, окутанного звоном мошкары виноградника. Корова ждет снаружи, готовая вздеть его на рога, скрежещет меловыми зубами, брызжет меловой слюной... Порой эта огромная уродина подпрыгивает, взлетает выше забора и оттуда, сверху, вглядывается в Нико огромным, как гусиное яйцо, глазом: здесь он еще или убежал. А Нико стоит между рядами виноградных лоз и смеется, и в то же время трусит, хотя и не знает, не постигает, не может объяснить себе, — что, собственно, страшного и что смешного в этой меловой корове. Недаром говорит бабушка, что сны виной всему тому, что с ним творится. Но разве от Нико зависит, что ему может присниться? Бабушку тревожит то, что все эти сны Нико одинаково туманны и запутанны, что их невозможно истолковать, — а необъясненный сон пугает ее так же, как телеграмма из Батуми. В ней всегда есть **весть**, сообщение о чем-либо хорошем или плохом, радостном или печальном, потому что просто для игр и развлечений ни Богу, ни черту недосуг. А сон непременно посылается или одним, или другим, так же, как телеграмма из Батуми всегда приходит от старшей дочери. Поэтому, если бабушка сама затрудняется истолковать какой-нибудь сон, она тотчас зовет на помощь Маргариту: Маргарита ее толковница и ее гадалка, и



по первому зову спешит к бабушке на выручку, появляется вдруг, как настоящая волшебница — простоволосая, с голыми руками и ногами, распаренными от сидения у огня, врывается в дверь, наполняет комнату жизнью и шумом, говорит бодрым, задорным голосом: «Какие же вы пугливые, люди добрые, как же вы так будете жить...»

**Продолжение следует**

**Перевод Элисбара АНАНИАШВИЛИ**





# ПОИСКИ БОГОВ

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

\* \* \*

Кто-то издали позвал Озермеса. Он прислушался, хотел открыть глаза, но отяжелевшие веки не поднимались. Кто звал его?.. Он услышал, как где-то поблизости на деревьях шуршит от ветерка листва и, несмотря на опущенные веки, вдруг увидел, как ветка с крохотными листочками удлиняется, опускается ему на лоб, и это уже не ветка, а чья-то прохладная рука. Жар, обжигавший голову и грудь, стал угасать. Женский голос что-то зашептал ему на ухо. — Кто ты? — спросил он. — Жычгуаше? Я не вижу тебя. — В ответ тихо зашуршала листва. — Не понимаю, — сказал Озермес.

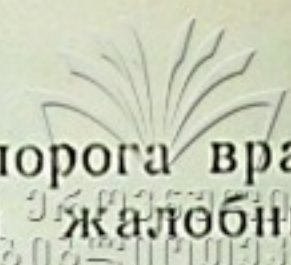
\* \* \*

— О, муж мой, проснись! — Озермес поднял голову. Чебахан стояла возле тахты и смотрела на дверь. В очаге чуть тлели угольки. Чебахан готовила еду на летнем очаге, а огонь в сакле разжигала по вечерам, чтобы как следует просохли обмазанные глиной стены. За окошком, затянутым оленьим пузырем, желтел лунный свет. — Что? — хриплым со сна голосом спросил Озермес. — Какая-то женщина... Ходит и плачет. — Озермес прислушался. В саклю проникали лишь обычные звуки безветренной лесной ночи. Где-то ухал филин. У двери грызли порог мыши. Озермес зевнул. — Приснилось тебе, белорукая. — Я слышала, как плачет женщина, и шаги ее слышны были. — Озермес нехотя поднялся, натянул бешмет, чувяки, надел шапку и пошел к двери.

---

Окончание. Начало см. в № 5.





Когда он выбил клин, мыши кинулись от порога врассыпную. Озермес открыл дверь и услышал жалобный женский голос: — Он голодный, ему холодно, оденьте его!.. — Голос доносился со склона горы, где на опушке леса стояли сапетки для пчел. Озермес закрыл дверь, забил клин, пошел к своей тахте и стал раздеваться. Чебахан на корточках сидела у очага, разравнивая щепкой угли. — Слышал, как она плачет? Кто это? Откуда она взялась? — Это не женщина, белорукая, это алмасты. — Чебахан подскочила. — Алмасты? Ты увидел ее? — Нет, она бродит за пасекой. Хочешь, выгляни, рассмотри ее, если она подойдет ближе. — Чебахан поежилась. — Можно я перейду к тебе? — Иди. — Она подошла к его тахте и забралась под бурку. Откуда-то снизу, из ущелья, донесся волчий вой. Чебахан подергала Озермеса за ногу. — А как алмасты нашла нас? — Ходила, ходила, одного аула нет, другого нет, людей не видно, вот и дошла до нас, наверно, увидела издали дым из нашего очага. А, может, живет поблизости. — Чебахан прижалась к ноге Озермеса своей плотной плоской грудью, и его потянуло обнять ее. Он приподнялся, но Чебахан зашептала: — Тише, слышишь, как она плачет? — Издали доносились протяжные причитания. — А если она постучится в дверь? — дрожа, спросила Чебахан. — Хм, — проворчал Озермес, — хочешь мы еще не построили, придется пригласить гостью в саклю. — Не надо! — всполошилась Чебахан. — Лучше притворимся, что спим. — Я пошутил, белорукая, в человеческое жилище алмасты никогда не забирается. — По потолку ползали расплывчатые желтые пятна лунного света. В овраге, переливаясь через запруду, ровно журчала вода. Озермес знал с детства, что алмасты — безобразная голая женщина с распущенными волосами, волосы у нее такие длинные, что она может обернуться ими, как платьем, живет алмасты в оврагах и в кустарниках, днем появляется редко и, встретив человека, стремительно убегает, но родив ребенка, ночами ходит по аулу, плачет и просит одежду для младенца. В давнишние времена, когда горы еще не были горами, алмасты была женщиной, в чем-то провинилась, и Тха, прокляв, превратил ее в алмасты. Но какое пре-



ступление могла совершить женщина по отношению к своему ребенку, чтобы ее постигла такая суровая вечная кара? — Идет, — шепнула Чебахан. За стеной слышались еле различимые шаги, потом за дверью трудно задышали, у Чебахан часто застучали зубы, и она еще плотнее прижалась к ноге Озермеса. Шаги отдались. — Ушла, — сказал Озермес. — Не трясись ты так. Приляг ко мне. И, если хочешь, разденься. — Чебахан промолчала, потом завопилась с одеждой. За это время Озермес разделся сам. Чебахан тихо сказала: — Алмасты ходит голой, я умерла бы со стыда, если бы ты увидел меня обнаженной. — Как всегда молча перетерпев его ласки, она с облегчением вздохнула и повернулась на бок.

Утром, когда вышли из сакли, Озермес, сделав несколько шагов, остановился, будто упершись в скалу, и показал рукой на землю. — Посмотри, белорукая. — На тропинке, которую они протоптали от сакли к оврагу, Чебахан вчера пролила из кумгана воду, и на этом месте, на еще влажной земле был отпечаток узкой босой ноги. — Алмасты прошла от оврага к лесу, — сказал Озермес. Чебахан зябко передернула плечами, посмотрела на лес, потом наклонилась и стала рассматривать след. — Нога у нее уже моей, такие же прямые пальцы и маленькая пятка. — Она озадаченно рассматривала след. Озермес, щурясь, разглядывал окрестности. В кустах трещали воробьи. В речке плескалась форель. Прохладный утренний воздух стоял неподвижно, не слышалось обычного перешептывания листвы и поскрипывания старых пихт, с которых от ветерка осыпалась хвоя. День обещал быть жарким. В небе сушилось под лучами солнца похожее на розовую женскую рубашку облако, вдали, выпрямившись, стояли в ряд широкоплечие, статные горы с белыми снежными папахами на головах, в синих черкесках и зеленых ноговицах. Прилетела ворона, села на макушку явора и закаркала. Чебахан недружелюбно посмотрела на нее. — Я хочу умыться, но боюсь спуститься к речке. — Озермес рассмеялся. — Ты не была такой трусихой, в ауле ничего не боялась. — Я же не знаю, какая из себя алмасты, если б я уже видела ее... — Ладно, пойдем, посторожу тебя, а потом пройду по лесу. Не го-



дится, чтобы эта несчастная старуха держала тебя в страхе. — Чебахан взяла кумган и легко сбежала к запруде. Озермес остановился у края оврага. В ком жила душа Чебахан, прежде чем вселиться в нее, и к кому она перейдет потом? Наверно, к какой-нибудь птице, может быть, к ласточке. — Не смотри на меня, — попросила Чебахан. Он отвернулся. Вороне наскучило каркать, она взлетела, лениво помахала крыльями, описала круг над поляной и поплыла над лесом. Вдруг из-за орешника на поляну выскочила лиса. Попав под ослепительный луч солнца, клятвопреступница остановилась. Видимо, кто-то испугнул ее. Кто и когда назвал эту хитрюгу клятвопреступницей? Острая морда ее вытянулась, уши стояли колышками, желто-рыжее туловище словно окаменело, длинный пушистый хвост прямо висел над землей. Грудь и брюхо у лисы были пепельно-серыми, а кончики волос на лбу и плечах белыми, как от инея. Вбив вокруг поляны колья с крестообразными развилками наверху, так было принято еще с тех времен, когда прадеды прадедов переняли от христиан крест, Озермес помочился на колья, чтобы звери, унюхав чужой запах, не забредали в его владения, однако то ласка, то куница подбирались иногда к сакле. Но строить плетень Озермес раздумал, сада и огорода у них не было, а владениями своими он мог считать хоть все окрестные горы и ущелья. Лиса повернула голову, заметила Озермеса, сорвалась с места, перепрыгнула через упавший явор и, размахивая хвостом, как метлой, стремглав побежала к лесу. Озермес оглянулся, Чебахан причесывалась, глядя в воду у запруды, как в зеркало. Озермес подумал, что когда волосы Чебахан отрастут до пят, она сможет оборачиваться ими вроде алмасты. Солнечный свет, прорываясь в овраг сквозь листву, искрился на бегущей воде, отражался от нее, желтые пятна прыгали по рукам, плечам и голове Чебахан, и задумчивое лицо ее от этого подрагивало и шевелилось, как шевелятся от ветра листья на деревьях. Она казалась такой же частью всего окружающего, как вода и яворы, как все, что ползает, бежит и летает по горам и лесам. Такими же были и все ушедшие, чьи души переселились в растения и в зверей, а иные, быть



может, еще витают в пространстве и, время спустя, поселятся в его и Чебахан детях и внуках. Так будет вечно, пока не перестанут, сменяя друг друга, подниматься и опускаться солнце и луна. Чебахан взяла кумган, нагнулась, чтобы зачерпнуть воду, взвизгнула, уронила кумган и побежала к Озермесу. — Там алмасты! Я видела ее! Она смотрела на меня! — Где ты увидела ее, в воде? — В кустах, на той стороне, я видела ее глаза! — Стой здесь, — сказал Озермес, — я поищу ее. — Сбежав вниз, он перепрыгнул через речку и принялся обшаривать кустарник. Чебахан не померещилось, трава кое-где была примята, и кусты раздвинуты. Озермес добрался до отвесного обрыва. Алмасты или взлетела по нему, обретя крылья, или убежала вверх по течению речки. Тха, прокляв старуху, одарил ее быстрыми ногами. Повернув обратно, Озермес увидел на ветке держи-дерева грязный пестрый лоскуток, сорвал его с колючек и тут же отбросил—от лоскута несло зловонием. Дойдя до запруды, он отмыл руки и поднялся к Чебахан. — Убежала, но она, кажется, одета, я нашел обрывок платья или платка, от него пахло, как от непохороненного покойника. — У Чебахан расширились глаза. — Может, она вылезла из могилы? — Озермес покачал головой. — У ушедших нет души, поэтому мертвецы никогда не вылезают из могил...

Он увидел алмасты на лесистом склоне, откуда хорошо видна была поднимающаяся к небу гора со шлемом на голове. Она сидела под кустом орешника, боком к нему, согнув босые, в ранках и в земле ноги, держа на коленях сверток и что-то вполголоса напевая. Длинные или с проседью, или грязные волосы спадали на лоб и глаза, а позади опускались на землю, покрывая серо-фиолетовый кафтанчик поверх когда-то желтой рубашки. С ворота кафтанчика свешивался на плечо обрывок золотистого галуна. Проваленную щеку пересекала полоска запекшейся крови. Озермес медленно направился к ней и услышал слова колыбельной:

Матери подол тебе колыбель, о, маленький мой,  
Матери грудь тебе пища, о, маленький мой...

Старуха эта не могла быть алмасты. Озермес, не дойдя до нее, кашлянул и остановился. Она вздрогнула, вскочила и, прижав к груди завернутого в тряпье ре-



бенка, посмотрела на Озермеса блестящими, лишенными выражения, словно слепыми глазами. — Мира тебе, мать, — сказал он, — ты напрасно убегала от нас, клянусь богами, я не причиню тебе ничего дурного. Пойдем со мной, моя жена встретит тебя, как дорогую гостью. — Склонив трясущуюся голову к плечу, она какое-то время всматривалась в него, потом темное худое лицо ее исказилось от плача, она переложила ребенка в левую руку, а правой ударила себя в грудь. — Мой ребенок, он маленький, ему холодно. — Пойдем, не бойся, там сакля, — стал уговаривать Озермес. — Иди вперед, вон туда. — Она жалобно запричитала и не сводила глаз с него, словно вспоминая что-то. Он подошел ближе и почувствовал смрад, исходящий от свертка. Если она держала в руках ребенка, то он был мертвым. — Кто ты, мать, как тебя? — Она, не понимая, плакала без слез. Озермес прикоснулся к костлявому плечу. — Иди туда, в ту сторону. — Он слегка подтолкнул ее в спину, и она, оглядываясь на него и прижимая к груди сверток, потащила к поляне. Озермес шел немного отставая, слева от нее.

Чебахан не было видно, наверно, вошла в саклю. — Белорукая! — крикнул Озермес. — Белорукая! Это не алмасты, это полуживая старуха. — Чебахан выскочила из двери так, словно кто-то вытолкнул ее оттуда, посмотрела на старуху и в нерешительности остановилась. На миг в глазах старухи промелькнуло что-то осмысленное, возможно, она вспомнила, что уже видела Чебахан, но ничего не сказала, лишь беззвучно пошевелила губами. — Пусть твой приход к нам даст тебе спокойствие, — спохватившись, сказала Чебахан, — добро пожаловать, ты мне мать, я тебе дочь. — Она, улыбаясь, приблизилась к старухе, обняла ее слева, потом справа, наклонилась к руке, обхватившей ребенка, для поцелуя и в ужасе откинулась назад. — Ее ребенок мертв, — сказал Озермес. — Она ничего не понимает, разум оставил несчастную. — Бессмысленные глаза старухи забегали от Озермеса к Чебахан, и лицо мучительно исказилось, как у человека, пытающегося понять незнакомую речь. Слово — ребенок она повторила, добавив: — Он маленький, ему холодно. — Заплакав без слез, старуха опустила сверток на траву,



встала на четвереньки и забегала вокруг него. Потом  
запела:

Матери грудь ему пища, о наш аллах,  
Всей семье его растить, о мой аллах...

ᠮᠠᠲᠤᠷᠢ ᠭᠦᠳᠤ ᠡᠮᠤ ᠫᠢᠴᠢ, ᠣ ᠨᠠᠰ ᠠᠯᠠᠬᠤ,  
ᠪᠡᠰᠡᠢ ᠰᠡᠮᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠷᠠᠲᠢᠲᠢ, ᠣ ᠮᠣᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ...

Чебахан вскрикнула: — Эту колыбельную пела моя бабушка! — Бросившись к старухе, она обняла ее за плечи и стала целовать ее руки. Старуха отдергивала руки, отталкивала Чебахан, потом судорожно обняла, и из глаз у нее потекли слезы. — Бедная мать моя, — приговаривала Чебахан, — несчастная мать моя, пусть Тха сжалится над горем твоим. — Старуха вдруг взвыла, разжала руки и поползла к свертку. Прижав его к груди, она медленно, через силу поднялась на ноги и, подойдя к валявшемуся на земле мертвому явору, села на него, выпростала из порванной рубахи белую, в грязных разводах грудь, прижала к ней сверток и застыла, пристально уставившись во что-то далекое, видимое одной ей. Озермес отвернулся. Чебахан встала, вытирая пальцами глаза и щеки, отряхнула с платья травинки и виновато посмотрела на невозмутимое лицо Озермеса. — Кому было посочувствовать матери, как не женщине, — одобрительно сказал он. — По выговору она из племени абадзехов. Покорми ее, но до этого сведи к речке, выкупай и дай что сможешь, из своей одежды. И еще вот о чем я думаю: я вырежу из дерева куклу, и, когда старуха заснет, завернем куклу в тряпье и подложим ей, а мертвого я похороню. Надеюсь, она этого не заметит. — Она очень грязная, — сказала Чебахан, — я согрею в казане воду. — Тебе виднее, — согласился он, взял в сакле топор и пошел искать для куклы деревяшку. У скалистого обрыва валялись срубленные им буковые и кленовые деревья, очищенные от веток, предназначались они для хачеша. Отрубив чурбачок, Озермес сел и принялся обрабатывать его кинжалом. Чебахан подбросила в огонь сучьев, поставила на очаг большой казан и, спустившись несколько раз к речке с кумганом, наполнила казан водой. Озермес время от времени поглядывал то на нее, то на старуху, которая, свесив голову, неподвижно сидела на мертвом дереве. Наверно, услышав потрескивание сучьев в костре, она повернулась, испуганно уставилась на огонь и закричала: — Горит! Горит! — Чебахан подбежала к



ней.— Не бойся, мать, огонь не обожжет тебя. Отвернись, не смотри на очаг, не надо.— Она уговорила старуху повернуться, потом отошла, взяла кумган и, вернувшись к старухе, что-то долго ей говорила, потом обняла за плечи и повела к оврагу. Проходя мимо Озермеса, она попросила: — Прости меня за то, что отрываю тебя от дела, отнеси к речке казан с горячей водой, я не смогу его поднять. — Он посмотрел на ее озабоченное лицо. — Хорошо. — Обмотав руки пучками сена, он перенес котел к запруде. Только он снова взялся за кинжал, как из оврага выскочила Чебахан, побежала в саклю и вышла оттуда с какой-то одеждой под мышкой и с миской, полной золы. Когда Озермес вырезал на конце чурбачка что-то, грубо напоминающее голову ребенка, от речки донеслась песня. Пела Чебахан, не своим, а низким, похожим на мужской, голосом: — О, Ела, мой мальчик сероглазый! О, Ела. Яла! — Потом слышался хриплый голос старухи:— Над Гойтхом гром гремит! — О, Ела, Яла,—повторила припев Чебахан. И кто-то из них захлопал в ладоши. Старуха повторяла одно и то же:— Над Гойтхом гром гремит! Над Гойтхом гром гремит!..—И смеялась. Что там происходило? Пели они песню, которую поют во время засухи, вызывая дождь. В горле у Озермеса запершило, он откашлялся и стал прислушиваться к голосам Чебахан и безумной старухи, неведомо как добравшейся до них из такого же сумасшедшего, навсегда оставленного ими мира. Старуха не понимает их, а они ее, потому что она обитает не в сегодняшнем, а в прошлом времени. Они, как путники, двое из которых перешли через перевал, а одна осталась в глубоком, сыром и темном ущелье. Они пытаются дозваться друг друга, но тщетно. Пойти за оставшей невозможно, ибо еще никому не удавалось вернуться в прошлое, значит, ему и Чебахан остается одно — ждать, пока старуха не догонит их. Не дожидаться можно только мертвого, а из старухи душа не ушла, иначе она не страдала бы и не плакала. — О, Ела, Яла! — пропела Чебахан уже своим, чистым голосом. Он подумал о том, что впервые слышит, как она поет, в ауле Чебахан лишь издавала вопли. Для чего в незапамятные времена прадеды их прадедов дали Шибле второе имя Яла или, по другим говорам, Алия? Отец



говорил, что это из имен верховного бога евреев, те называли бога Илией.

Из оврага с пустыми казаном и кумганом в руках вышла Чебахан, глаза у нее были такими, словно она только что столкнулась носом к носу с самим Шибле. — Что случилось, белорукая? — окликнул ее Озермес. Опустив на землю казан и кумган, она подбежала к нему и обдала его потоком слов: — Имя свое она не вспомнила, она почти ничего не понимает, но она не старуха, она совсем молодая! Я одела на нее платье, и штаны, и чувяки, те, что собрала в ауле, и она стала смеяться, а про ребенка, по-моему, забыла!.. Мыться она не хотела, отталкивала меня, плакала, а потом, когда я запела песню о дожде, я это на всякий случай сделала, — вдруг в голове у нее осталось хоть немного памяти, то она на самом деле что-то вспомнила, стала припевать и приплясывать, и в ладоши хлопала! Я два раза вымыла ей голову золой; всю её помыла. У нее вот здесь, у плеча, рана от пули, рана зажила уже, а на спине, откуда пуля вышла, тоже след остался! Худая-худущая, ребра, как дырявый плетень, и отовсюду кости торчат!.. Но она красивая, волосы золотые, а глаза, раньше не замечала, как фиалки! — От возбуждения Чебахан подпрыгивала на носках и взмахивала руками. — Если ты не умолкнешь, — сказал Озермес, — все сороки помрут от зависти. Возьми-ка лучше куклу, оберни ее тряпками и принеси незаметно туда, к запруде, попробуем подменить мертвого ребенка. — Он встал и пошел к оврагу. Женщина стояла на коленях, наклонившись над речкой, и разглядывала свое отражение в воде. Время от времени она протягивала руку, взбаламучивала воду, убирала руку за спину, дожидалась, пока отражение не возникнет снова, смеялась и опять взбалтывала воду. Длинные руки ее двигались плавно и гибко, как шеи цапель, которых Озермес видел однажды, во время странствий с отцом. Услышав шаги Озермеса, женщина оглянулась, и губы ее медленно разошлись в улыбке, открыв белые, крупные, как кукурузные зерна, зубы. Из-за того, что брови у нее поднимались высокими дугами, казалось, что она смотрит на все с удивлением. Озермес не заметил этого раньше, потому что лоб ее был закрыт спадающи-



ми на лицо клочковатыми волосами. Женщина отвернулась и снова принялась играть с водой. Озермес посмотрел на золотистые волосы, ниспадавшие на спину и свивавшиеся внизу в кольца. Да, молодая, не больше, чем на два-три года старше Чебахан. Впрочем, определять на вид лета и зимы, накопленные женщиной, занятие зряшное, как сказал однажды Безусый Хасан, куда легче установить возраст плывущей по небу луны. Послышалась легкая поступь Чебахан. Она сбежала по тропинке, держа за спиной куклу. — Отвлеки гостью, — сказал Озермес, — и заслони меня, потом уведи ее в саклю. — Чебахан, встав перед ним, передала ему куклу и, идя к женщине, завела с ней разговор: — Сестра моя... — Положить куклу, взять смрадный сверток и выйти из оврага было для Озермеса делом одного-двух вдохов. Он отнес завернутый в ветхое тряпье трупик за кусты, растущие возле поляны, и вернулся за лопатой. Потом выждал, пока Чебахан отведет женщину в саклю. Они поднялись из оврага, впереди женщина с куклой на руках, за ней подталкивающая ее в спину Чебахан. Когда они скрылись за дверью, Озермес стал размышлять, где выкопать могилу. Пожалуй, у пропасти, на лужайке, усыпанной красными, как кровь, маками. Смерив черенком лопаты длину свертка, он вывернул большой ком жирной темной земли. На этой земле хорошо взошло бы просо. Перед тем, как опустить сверток в могилу, он осторожно развернул палочкой лохмотья. Трупик почти совсем разложился, лишь кое-где на костях виднелись сморщенные ошметки кожи. Круглый, с большое яблоко, беззубый череп был пробит пулей. Озермес снова прикрыл кости тряпьем, похоронил ребенка, выпрямился, постоял, опустив руки и, вполголоса, чтобы не услышали в сакле, пропел: — О, горе матери твоей! Едва рожденный, отдал ты душу, пулею сраженный... — Закопав могилу, он уселся и стал смотреть в туманную голубую даль. Дымка затягивала близкие и дальние горные хребты, и они мутно шевелились, как шевелятся камни на дне моря, у берега, если на них смотреть сверху, сквозь толщу воды. Богатырь-гора со шлемом на голове, прикрывшись от солнца облаком, задумчиво глядела на Озермеса.

Вскоре после того, как Озермес взялся обтесывать



колья для хачеша, к нему подошла Чебахан. Остановившись в сторонке, она молча ждала, когда он заговорит. Озермес, опустив топор, посмотрел на нее. Я накормила гостью, она заснула, — Чебахан, обхватив ладонями лицо и улыбаясь, покачала головой. — Она стала кормить куклу грудью, потом захныкала и отдала куклу мне, пришлось изобразить, будто я даю ребенку грудь. Чебахан покраснела. — Узнать бы, как ее зовут... — Она из абадзехов,<sup>1</sup> можно так и называть ее — Абадзеха, — сказал Озермес. — Ты хорошо это придумал. А где ты похоронил ребенка? Он действительно был мальчиком? — В тряпке были одни кости. Могила за теми кустами. Младенца убила та же пуля, которая ранила Абадзеху, ему пробило голову, а ей плечо. — Сразил ли Тха убийцу, стрелявшего в мать и ребенка? — пробормотала Чебахан. — Как ты думаешь, муж мой, память вернется к ней? — Этого не угадать. Кто знает, может, в ней теперь живет не ее душа, а чужая, и даже не человеческая. Поэтому она и бегает, как зверь, на четвереньках. Ладно, идем спать.

До захода солнца Озермес вкопал четыре столба и вбил в землю колья. С утра можно будет заняться оплеткой стен. Чебахан, приготовив еду, разостлала на обломке скалы шкуру убитого Озермесом козла и стала разминать ее с внутренней стороны деревянной дубинкой, похожей на большой пестик от ступки. Раз за два она сходила в саклю и, вернувшись, сообщила Озермесу, что Абадзеха еще спит. Мягкие грустные лучи заходящего солнца обливали желтизной скалистую стену, притаившуюся возле нее саклю, золотили листву и стволы деревьев и пестрым ковром ложились на поляну. Смолкало жужжание пчел и гомон птиц. Со стороны пропасти иногда слышался шорох падающих камней. То днем, то ночью от обрыва отрывался камешек, падая, он увлекал за собой другие, и грохот несущейся вниз каменной лавины эхом отзывался в горах. Круглые валуны козами прыгали на выступах, а ночью можно было увидеть, как от их ударов о скалы разлетаются искры. И тогда тьма ущелья казалась ночным небом, в котором загораются и гаснут звезды. За-

---

<sup>1</sup> Абадзехи — адыгское племя.



кончив возню со шкурой, Чебахан забросила ее на крышу сакли и подошла к Озермесу. — Ты проголодался? Поешь, а я подожду, пока проснется Абадзеха.

Помыв руки, он поел, похвалил еду, приготовленную Чебахан, уселся на туловище мертвого явора и стал смотреть в розовеющее небо, по которому, взлетев со скалистого обрыва, еле слышно повизгивая, черными стрелами проносились стрижи. Из дверей сакли вышла Абадзеха, навстречу ей промелькнула мимо него Чебахан. Абадзеха опустила к земле куклу, повела ее перед собой, как ведут ребенка, и запела песенку, которую поют матери и бабушки, когда обучают малышей ходить:

Мима, мима, сделай шаг, мой мальчик,  
Мима, мима, шагни, мое солнышко...

Абадзеха прошлась по поляне, забрела за кустарник. Озермес поднялся посмотреть, куда она пошла, и увидел, что она сосредоточенно разглядывает могильный холмик. — Белорукая! — позвал Озермес. — Ты хотела покормить нашу сестру. — Чебахан побежала к Абадзехе, обняла ее за плечи и повела к летнему очагу. — Пойдем, сестра моя, пойдем, ты голодна, а я сварила жирный ляпс.—Ляпс, — повторила Абадзеха.—Да, сестра моя. — Сестра, — эхом отозвалась Абадзеха.—Они прошли за спиной Озермеса к столику. Какое-то время молчали, потом он снова услышал их голоса. — Сестра? — спросила Абадзеха. Чебахан обрадованно ответила: — Да, да, сестра твоя, меня зовут Чебахан, а он твой брат, Озермес.—Он почувствовал, как Чебахан смотрит ему в спину, но не повернулся, догадавшись, что она ждет от него похвалы.—Че-ба-хан,—по слогам протянула Абадзеха, — О-зер-мес. — Она не понимала того, что говорили ей, хотя была таким же человеком, как Чебахан и Озермес, такой же частью окружающего, как и они. Каменный дрозд дрожит, трепещет серыми крыльшками, радуется своему многоголосию, когда трещит по-сорочьи, воркует голубем и заливается, подобно соловью. Абадзеху окружают синие горы, зеленые деревья, белые облака в желтеющем небе, то вдали, то вблизи от нее лают шакалы, щебечут ласточки, произносит ласковые слова Чебахан, а она ко всему слепа,



глуха и существует в том, неведомом мире, куда нет доступа ни Озермесу, ни Чебахан, ни шакалам, ни ласточкам, никому из живущих на земле. Где он, тот мир, каков он, есть ли в нем свет, тепло и радость, или пуст, темен и мучителен, как ночная боль? Вернется ли Абадзеха оттуда, либо навсегда останется там, а ходить, есть и спать будет рядом с Озермесом и Чебахан, не ведая, что до конца дней своих станет напоминать им о прошлом, о том, от чего они ушли? Озермес заметил, что туман забвения иногда, лишь на один быстрый вдох, улетучивается из глаз Абадзехи, но, едва вернувшись в этот мир, она тут же, со скоростью пули, отдаляется от него. Если б удалось изгнать туман из ее глаз надолго, подобно тому, как солнце и ветер растопляют весной снег на жаждущем тепла лугу и оберегают его от холодов до осени, может, раненая душа Абадзехи выздоровела бы, и она снова стала бы такой, какой много лет и зим ходила по земле. Чебахан уговорила Абадзеху помыться, заведя песню о дожде. А если попробовать вызвать ее из того мира другой, знакомой ей от рождения песней? Озермес оглянулся. Чебахан что-то жалеючи говорила Абадзехе, а та укачивала куклу и, наморщив лоб, непонимающе смотрела ей в рот. Он встал, вынес из сакли шичепшин, уселся на мертвом яворе, подтянул ослабшие струны, повел смычком и запел древнюю песню, которую знал от отца и которую они три или четыре зимы тому назад пели на свой лад в абадзехском ауле. Вскоре слышались легкие шаги, Абадзеха, обойдя упавшее дерево, опустилась на колени, села на пятки, положила на траву рядом с собой куклу и, не мигая, впиалась в лицо Озермеса пустыми фиолетовыми глазами. Чебахан остановилась сбоку от них и, слушая песню, смотрела в даль неба, на склоне которого зажглась Вечерняя звезда.

Озермес пел и за себя, и, понижая голос, за хор. У абадзехов песня эта была короче, да и содержанием отличалась от шапсугской. Но отец говорил, что настоящий джегуако должен знать, как поют ту или иную песню и шапсуги, и кабардинцы, и бжедуги, и что каждое племя, внося в песню свое, только украшает ее, как искусные мастерицы, вышивающие разноцветными



нитками узоры на нарядном женском платье. Каждая вышивает по-своему, но платье все равно получается адыгским, и ни с каким другим его не спутаешь. Память у Озермеса была волчья, раз услышав песню, он запомнил ее, и в голове его уже толпилось не меньше песен, чем росло трав на лугу, хотя теперь это уже не имело значения, подобно тому, как для беркута, прикованного за ногу цепью к столбу, нет никакого толку в размахе его распростертых крыльев. Не потому ли он давно не поет, что у него больше нет слушателей? Кому петь — Чебахан и женщине, потерявшей память и имя? Или птицам, зверям, деревьям, ручьям и скалам? Им нужны другие песни, а не те, что джегуако пели, сохраняли и сочиняли для своего рожденного Солнцем народа...


Небо на восходящей стороне желтело все гуще и, наконец, из-за горы поднялась яркая луна. От деревьев потянулись по земле длинные тени. Умолкнув, Озермес отложил шичепшин. Глаза Абадзехи блеснули отраженным лунным светом. Она заслонилась от луны, как от солнца, рукавом, схватила куклу, содрала с деревяшки тряпье, повертела ею перед собой, отбросила и, вскочив на ноги, заметалась по поляне. Длинные волосы, озаренные луной, золотистым облаком парили за ее спиной, а по земле за ней бегала синяя тень. Время от времени она останавливалась, всматривалась в Озермеса и Чебахан, оглядывала очаг и саклю, переводила взгляд на затихший лес и спящие горы и опять бегала по поляне. Они молча наблюдали за ней. Абадзеха терла лоб рукой, закрывала ладонями глаза, опускала руки и трясла головой, как от боли. Постояв немного, кинулась к сакле, скрылась за дверью и тут же выскочила наружу. Что-то бормоча, она побежала к сапеткам и скрылась за кустарником. Озермес и Чебахан, не сговариваясь, пошли за ней. Они обошли кусты и увидели, что Абадзеха снова бежит на четвереньках и обнюхивает землю. Остановившись у могилы, она села на колени и принялась быстро, как роют землю собаки, разрывать руками холмик над могилой. — Абадзеха! — вскрикнула Чебахан. — Оставьте ее, — тихо сказал Озермес. — Разровняй я землю, может, она не догадалась бы, а теперь уже поздно. — Абад-



зеха отбрасывала землю назад, и руки ее все глубже зарывались в могилу. — Сестра моя, — простонала Чебахан. Абадзеха обернулась и хрипло проговорила: — Тише, он спит. — Снова нагнувшись над могилой, она стала медленно засыпать ее землей. Подрывая холмик, упала на него грудью, завопила и замерла.

Луна медленно катилась по светлому небу. Далеко в ущелье протяжно завыл волк: — Воу-у-у!.. — Помолчав, волк снова тоскливо затынул: — Воо-у-у!.. — Абадзеха приподнялась. — Кто-то зовет... — Озермес подошел к ней и тронул ее за плечо. — Это лесная собака, сестра моя, она зовет не тебя, она воет на луну. Пойдем, уже поздно. — Она поняла его, послушно встала, взялась за руку Чебахан и направилась с ней к сакле. Сделав несколько шагов, оглянулась, вопрошающе посмотрела на Озермеса, потом перевела взгляд на Чебахан. — Что, сестра моя? — спросила Чебахан. Абадзеха не ответила. Они вошли в саклю. Чебахан стала разводять огонь в очаге, Озермес, повесив шичепшин на колышек, сел на чурбачок. Абадзеха пошла к тахте Чебахан, уселась и отвернулась от очага, в котором с треском разгорались щепки. Озермес сидел так, что ему было видно ее озаренное пламенем лицо, задумчивое, с хмурым лбом и сжатыми в ниточку губами. Когда Чебахан сунула в светильник лучину и раздула ее, Абадзеха задрожала и спросила: — Кто вы? — Чебахан бросилась к ней. — Сестра моя, ты вспомнила?! Скажи нам, как зовут тебя. — Не ответив, Абадзеха спросила снова: — Как я попала сюда? — Чебахан обняла ее за плечи. — Я все скажу тебе, — сказал Озермес, — знай, что ты у своих, мы шапсуги... — И он, без лишних слов, стал рассказывать, как они ушли из сожженного аула, нашли здесь место для жилья, как переносили из мертвого аула все, что могло им пригодиться, как он построил саклю и как однажды ночью услышали плач и причитания женщины и решили, что это алмасты, и как он привел ее, как Чебахан ее выкупала и переодела, а он подменил убитого ребенка деревяшкой, похоронил и оплакал его, и как они пытались узнать, кто она, откуда, но не смогли, потому что душа ее была в отсутствии. Абадзеха внимательно слушала, не сводя с него угнетенного взгляда, иногда чуть кива-





ла, словно подтверждая сказанное им, или беззвучно шевелила губами. Кажется, она вернулась на землю, не понять только было, ступила на нее одной ногой или пришла совсем. Молчаливая, окутанная золотистыми волосами, словно осеннее дерево пожелтевшей листвой, Абадзеха казалась видением из сна или духом, придуманным для песни каким-нибудь джегуако. Но она не была выдумана, она была такой же, как Чебахан, к ней можно притронуться, дыхание ее можно услышать, и когда она разговорится, поведаст о своем ауле, о родителях, муже и близких, окажется, что жизнь ее мало чем отличается от жизни многих других адыгских женщин. Но непонятно все же, почему ребенок Абадзехи должен был погибнуть, а она, наверно, совершенно безгрешная, осталась жить для мучений, почему волк тоскливо завыл именно тогда, когда Абадзеха засыпала землей могилу с костями своего ребенка. Кем определяется, что все должно происходить так, а не иначе? Тха? Но Тха где-то очень высоко, дальше солнца, а земля велика, и людей на ней огромное множество, как может Тха видеть всех и каждому отвешивать его долю? И даже, если это так, почему Тха столь щедро раздает людям страдания?.. Может, вершит миром не Тха, а кто-то другой? Или же земное коловращение происходит само собой, без Тха, а люди не видят, куда идут, и вместо того, чтобы стремиться к свету, горящему в окошке далекой сакли, они бессмысленно, как путники, заблудившиеся в ночных горах, бродят в поисках выхода из ущелья в ущелье, в не имеющем ни начала, ни конца времени. Озермес взглянул в задумчивые глаза Абадзехи, убедился, что душа вернулась к ней, и умолк, выжидая, что она скажет. Но Абадзеха молчала. Тогда он спросил: — Ты помнишь, сестра, как пришла к нам? — Она покачала головой, глянула на огонь в очаге, передернулась и стала смотреть в открытую дверь, в которой виднелась поляна, заросшая травой. На траве тонко просеянной мукой рассыпалось слабое сияние луны. В саклю вливалась тишина плеском воды, шелестом листьев, стрекотом цикад и сверчков, резким свистом крыльев и скрипучим вскриком охотящейся неясности. В сакле же было тихо, как бывает вечером в любой



адыгской семье, в каждой сакле, в которой еще не бегают дети и никто не поет песен по случаю приезда гостей. Все молча отдыхают, глотают зевоту и ждут, когда придет время отойти ко сну. — Скажи, сестра, — спросил Озермес, — что с тобой было раньше? — Что было? — переспросила Абадзеха так безразлично, словно он поинтересовался, подмела ли она утром пол. — Я лежала больная. Сакля загорелась, стало дымно. Я схватила мальчика, выскочила, он выстрелил, и я побежала к лесу. — Кто он? — не выдержав, ворвалась в их разговор Чебахан. — Не знаю, кто-то. Их было несколько, в дыму я не разглядела. А что было потом, я забыла. — Что ж, забыла и забыла, — покосившись на Озермеса, произнесла Чебахан, — главное, что ты осталась жива. — Да, хвала богам, вяло согласилась Абадзеха. Посмотрев на угасающие в очаге угольки, она вздрогнула. — Я боюсь огня. — Не обращай на него внимания, — сказал Озермес, — наш огонь друг тебе. — Абадзеха перевела взгляд на дверь и встала. — Да благословит вас Аллах. Луна уже за горой, вам надо спать. Ложитесь, а я посижу возле своего мальчика, попрощаюсь с ним... — На все твоя воля, сестра, — сказала Чебахан, — ночью с гор спускается холод, и я с разрешения Озермеса дам тебе бурку. — Озермес кивнул и добавил: — У нас еще нет хачеша, но на днях я пристрою к сакле вторую комнату, и мы не будем стеснять тебя. — Вы мне, как родные, — тихо отозвалась Абадзеха. — Чебахан протянула ей сложенную бурку. — Да благословят вас боги. — Абадзеха втянула воздух, словно собираясь что-то еще сказать, но раздумала, грустно посмотрела на них и вышла. Приготовив постель, Чебахан пошла к речке умыться. Когда она вернулась, пошел выпить перед сном воды и помыть ноги Озермес. Возвращаясь в саклю, он посмотрел на кусты, прикрывавшие могилу, но Абадзеху за ними не увидел. Он заснул и проснулся оттого, что Чебахан дергала его за ногу. — О, муж мой, встань, пожалуйста. — Озермес скинул с себя сон, вскочил в один вдох и уже стоял на ногах. — Абадзеха не вернулась, — сказала Чебахан. — Я услышала какой-то шум, будто рушились камни. — Проворно одевшись, Озермес выбежал в так и оставшуюся отворенной



дверь. Начинаясь сизый рассвет, на восходящей стороне прозрачно зеленело небо. За кустарником у могилы лежала свернутая бурка. Озермес прошелся по опушке леса, спустился в овраг, к ручью, оглядел луг — не было видно ни Абадзехи, ни следов ее ног на влажной от росы траве. Снова зайдя за кусты, он заглянул в пропасть, но провал был затянут густым туманом. Подобрав бурку, Озермес вернулся в саклю. — Исчезла, — коротко сообщил он. — Взойдет солнце, пойду искать.

К полудню Озермес, сделав большой круг, вошел в полутемное ущелье. В небе на высоте шлема Богатырь-горы парили, вытянув длинные шеи, два белоголовых сипа. Озермес направился в глубь ущелья. Тело Абадзехи, валявшееся на камнях, он заметил издали и в пять прыжков оказался возле него. Лицо Абадзехи с раскрытыми фиалковыми глазами не было побито, а кости переломаны. Озермес посмотрел на скалистый откос. Бросилась она оттуда или ночью подошла к обрыву и в темноте оступилась? Этого уже не узнать. В кого теперь перелетела ее душа? Он взвалил мертвое тело на спину и пошел обратно, глядя под ноги, чтобы не наступить на что-нибудь живое. До сакли Озермес добрал на исходе дня. Пока Чебахан, причитая, обмывала тело Абадзехи, он выкопал могилу. Оплакав ушедшую, с помощью Чебахан опустил мертвое тело в яму и постоял, опираясь на лопату. Ему давно хотелось есть. Он оглянулся на очаг, над которым вился дымок и кипела в котле вода, потом посмотрел на могилы — маленькую и большую, возле которой сидела Чебахан, оглаживая руками черный могильный холм. — Так мы ничего и не узнали о тебе, — тихо причитала Чебахан, — о, несчастная сестра моя. — Озермес подумал, что, возможно, если бы он песней не пробудил в Абадзехе уснувший разум и не помог ее душе вернуться, она не уяснила бы, что ребенок ее мертв, не вспомнила бы свое прошлое, о котором не успела или не посчитала нужным рассказать, и, наверно, осталась бы жить, нянчила деревяшку, пела песни и дотянула бы до седой старости. Получилось же, что, вырывая Абадзеху из неведомого ему мира и возвращая ее к земной жизни, он, не желая того, подталкивал ее к смерти. То, что



он подменил ребенка деревяшкой, было обманом, но мертвого нельзя оставлять непохороненным. И разве он не хотел Абадзехе добра? Древняя адыгская песня уведла ее от непонятных ей мучений и привела к осознанному страданию, отличающему человека от всего сущего. Но, может, такое добро было насилем и от этого Абадзеха и погибла?.. Можно ли по своему разумению делать людям добро и не оборачивается ли тогда добро злом? Может, добрый поступок должен быть лишь ответом на чью-то мольбу? Однако Абадзеха не могла ни о чем просить, ибо ничего не признавала. Он помог ей снова стать человеком, а все остальное вольна была решать она сама, и этого права у нее не мог отнять никто. Озермес бросил взгляд на тускнеющее небо и вскинул лопату на плечо. — Пойдем, накорми меня, белорукая... Видишь, все у нас, как в ауле, не успели построить саклю, как пришлось оплакивать умерших. Теперь у нас с тобой есть и свое жилье, и свое кладбище. — Чебахан пронзительно глянула на него и встала. — Долгой жизни тебе! — И тебе, моя белорукая. Но, сколько мы ни желали бы друг другу многих лет и зим, проживем мы не дольше и не короче того, что проживем. Разве мы не хотели, чтобы Тха дал Абадзехе долго ходить по земле? — Чебахан широко отворила свои прозрачные бездонные глаза. — Да, только... Если бы кто-нибудь из нас сидел ночью возле нее, она, быть может, разговаривала бы сейчас с нами. Моя вина, я женщина, и не должна была оставлять ее одну. — Возможно, — угрюмо сказал Озермес, — однако Абадзеха все равно не сегодня, так завтра поступила бы по-своему. — Я тоже хочу думать так. Ты, как всегда, прав. — Но по ее выпяченной вперед нижней губе Озермес понял, что она с ним не согласна.

\* \* \*

Кто-то обтирал лицо Озермеса горячей тряпкой. В уши вперемешку били басовитый голос барабана и скрип аробного колеса... Вокруг все горело, сухие деревья потрескивали в огне... На грудь тяжело пал с неба белоголовый сип и, вытянув длинную голую шею, заклекотал и стал колотить его крыльями. Услышав нежный вскрик Жычгуаше, сип взвился вверх, а бо-



гиня, нагая, прижалась к нему, и тепло ее тела обволокло Озермеса, как вода в спокойном летнем озере... Потом ему снова стало холодно, но материнские руки укутали его одеялом, и он, подобно улитке, втягивающей тельце в свой круглый домик, свернулся, подтянув колени к груди. Со стороны хачеша доносилась песня, до того грустная, что у Озермеса защемило закрытые глаза. Он попытался открыть глаза, слипшиеся веки не поддались ему, но он и сквозь них увидел, как колышутся алые огненные языки. Услышав отчаянный собачий лай, он, сделав новое усилие, разжал веки и увидел не мать, а присевшую у очага Чебахан. Время сжалось и перепуталось: он еще ощущал прикосновение материнских рук, но, одновременно, был и взрослым, видел Чебахан, однако лежал не на снегу, где Чебахан не было, а на тахте, и за дверью возбужденно лаяла засыпанная лавиной собака. — Самыр! — позвал Озермес, но не услышал своего голоса, как, наверно, никто не слышит того, что выражает душа, оставившая человека и еще не поселившаяся в ком-нибудь другом.

Чебахан, ощутив его взгляд, повернулась и вскрикнула:

— О, муж мой!

Она вмиг оказалась возле тахты, упала на колени, прижалась головой к его ногам и что-то зашептала. Озермес не мог разобрать, что говорит Чебахан, голова его была словно обернута башлыком. Огонь, горевший в очаге, под казаном, посылал ему тепло, на потолке темнели сырые пятна, на стенах висела одежда и лук, и ружье, которое Озермес обронил, когда на него падала лавина, ногами он чувствовал тяжесть головы Чебахан, все это не чудилось ему, душа была в нем. И он, одним прыжком перепрыгнув из прошедшего в настоящее, ощутил умиротворение и покой. Снаружи билась, царапалась в дверь собака. Чебахан поднялась и, уловив взгляд Озермеса, скользнула к двери, толкнула ее, и Самыр ворвался в саклю со смеющейся пастью, прыгнул на Озермеса и принялся, горячо дыша, вылизывать его лоб, нос, уши и подбородок.

— Ты жив, Самыр? — прохрипел Озермес. — Я тоже. Ну, хватит, хватит.

Чебахан прикрикнула на собаку:



— Ты в сакле?!

Самыр виновато опустил голову и, помахивая растрепанным хвостом, уныло поплелся к двери. Перебравшись через порог, он повернулся, сел, высунув кончик языка, стал смотреть на Озермеса, как дети смотрят на давно не виденного отца, и заколотил хвостом по снегу. Самыру ходить бы с куцым хвостом, если бы Озермес, услышав, что щенку собираются ночью, когда тот будет спать, одним ударом отсечь хвост, — тогда собаки вырастают чуткими ночными сторожами, — не запротестовал и не стал доказывать, что щенка подарили ему, и он, как хозяин, имеет право решать, какую овчарку ему иметь — с хвостом или бесхвостую. Тем более, что нартскому Самыру никто хвоста не укорачивал.

Чебахан, посмотрев на Озермеса и Самыра, счастливо засмеялась. Под казаном сердито зашипел огонь. Чебахан всполошенно метнулась к очагу, сняла казан и схватилась пальцами за мочки ушей, чтобы погасить боль от ожогов. Горячий ляпс, которым напоила Озермеса Чебахан, смягчил ему горло и наполнил жизнью тело.

— Пусть еда, приготовленная твоими руками, — окрепшим голосом сказал он, — будет такой же вкусной, пока на земле есть огонь.

Чебахан снова засмеялась и прильнула к нему. Самыр заскулил. Чебахан, смутившись, отодвинулась. Озермес притронулся к лицу и наткнулся пальцами на короткую бороду. Он посмотрел на свои почерневшие, поврежденные морозом руки.

— Я смазывала тебе лицо и руки соком подорожника и давала тебе мёд, — сказала Чебахан.

Мысли в голове Озермеса передвигались медленно и неуверенно, как путники, заблудившиеся в тумане. Подумав, он установил, в чем ему еще надо разобраться, и попросил:

— Расскажи, белорукая, о том, чего я не знаю. Душа покинула меня, когда я высунул голову из-под снега. А что было потом?

Чебахан села у него в ногах.

— Мне не хотелось, чтобы ты уходил на охоту, у меня было черное предчувствие, но я не могла сказать



об этом. Самыр тоже не захотел, чтобы ты ушел один и побежал за тобой. Я осталась одна. И ждала. Пила горячую воду. И опять ждала и просила Мазитку, чтобы он помог тебе. После ночи смотрела, как поднимается солнце, а после дня — на звезды, гадала, какая звезда твоя и какая моя. Один раз пришел волк. Ходил вокруг сакли и выл. Утром, когда я выглянула наружу, он сидел на снегу и смотрел на меня голодными глазами, но я ничего не могла ему бросить. Я захлопнула дверь. Тогда волк стал скрестись в нее лапами. Я приоткрыла дверь и сунула ему в морду горящую головню, наверно, обожгла нос и спалила усы, потому что он взвыл и стал кататься по снегу и тереть морду лапами. Потом убежал. Наверно, это был тот одинокий волк, который иногда выл вдали. Худой, ребра по одному пересчитать можно было, и хвост поджат, как у шакала. Похож на Самыра, только ростом поменьше.

Овчарка, услышав свое имя, заскулила и опустила морду на порог.

— Ты хороший, — ласково сказала Чебахан, — ты самый хороший из всего собачьего племени.

Самыр от удовольствия замурлыкал по-кошачьи и зажмурился.

— Если бы не Самыр, я, наверно, больше не услышала бы твоего голоса. Он прибежал, когда солнце было высоко, стал лаять и звать меня за собой. Отойдет, залает и смотрит, иду ли я за ним. Наверно, он вылез после тебя, а когда не смог вернуть тебе душу, побежал за мной.

— Пожалуй. Гони своего коня дальше.

— Я взяла нож, огниво и пошла, и молила всех богов, чтобы они дали мне увидеть тебя живым. Самыр был такой слабый, что все время падал. Полежит, погрызет снег и снова встает. Когда он привел меня к тебе, ты не дышал, и нельзя понять было, давно ли душа оставила тебя. Самыр стал плакать и лизать тебе лицо. Я хотела потащить тебя вниз, но передумала. Отец при мне рассказывал, как они оживляли джигита, которого завалило снегом, и я про это вспомнила. Я вытащила тебя, потом бурку, положила тебя на бурку и потянула к лесу, на поляну, укрытую от ветра елями. Собрала хворосту, наломала сухих веток и разож-



гла с разных сторон три костра так, чтобы ты лежал посередине. Потом раздела тебя и терла снегом, пока кожа не стала красной. Но ты не оживал. Я подумала, что если ты не оживешь, душа оставит и меня... Тогда я отогнала Самыра, — Чебахан отвернулась и стала смотреть в открытую дверь, — я отогнала его, разделась и легла на тебя, чтобы ты согрелся от моего тела. Хотя светило солнце, глаза твои были закрыты, и ты не мог смотреть на меня. Я разжала тебе зубы ножом, дула тебе в рот и разводила и сводила твои руки, чтобы воздух входил в тебя. Но ты не оживал, и так прошла вечность, и я стала старухой. Я уже теряла силы, когда в тебе, наконец, застучало сердце. Я сразу помолодела, оделась, чтобы ты не увидел меня голой и одела тебя. Ты дышал, но душа все не возвращалась к тебе. Я забросала снегом костры, подобрала твоё ружье и поволокла тебя вниз на бурке. Она обледенела и скользила, как сани... А дома я пойла тебя настоем ромашки. Ты пять дней и пять ночей жил без души и без голоса. Я разговаривала с тобой, но ты не понимал, не слышал меня...

Губы ее задрожали, она отошла, взяла у очага чурбачок, перенесла его к тахте и села, глядя на Озермеса потемневшими влажными глазами.

— Скажи, белорукая, откуда у нас козлятина? — спросил он, — ведь ляпс был сварен из козла.

— Да, — она вздохнула и пригорюнилась. Ты помнишь Однорогую?

Поздней весной прошлого года Озермес с Самыром выходили из ущелья, чтобы подняться на горы, где Озермес заметил пасущихся коз. Вдали послышалось жалобное блеяние. Самыр с лаем рванулся вперед. Озермес побежал за ним. В кустах держи-дерева, под скалой билась и кричала маленькая светло-рыжая козочка. У нее была сломана передняя левая нога и на голове кровоточила рана. Самыр, перестав лаять, уселся и, наклонив голову, посмотрел на Озермеса. — Что? — спросил Озермес. — Жаль ее? — Выпутав козочку из колючек, он взвалил ее на плечи и понес домой. — Получай приемыша, — сказал он Чебахан, — она вопила так, что я оглох на оба уха. — Маленькая ты моя! — восторженно заверещала Чебахан. —



Сиротка ты моя! — Озермес усмехнулся. — Уж не хочешь ли ты, белорукая, чтобы мы совершили обряд удочерения? — Чебахан прикладывала к ране козочки листья крапивы, а к сломанной ноге привязала палочку, и нога срослась. Когда пришла пора пробиваться рожкам, рог на месте раны не вырос, и Чебахан прозвала козочку Однорогой. На ночь козочку привязывали к колу у пещеры, а днем она с блеянием, как за матерью, бегала за Чебахан и с большей охотой, чем на лугу, ела траву из ее рук. Потом козочка стала подниматься на задние ножки и, показывая белый животик, вздернув короткий черный хвостик, обглаживать верхние нежные листья на кустах. Завидев сонно валявшегося на земле Самыра, козочка разгонялась, выставяла лоб, мчалась на него и бодала. Самыр вскакивал, показывал ей клыки и куда-нибудь с досадой прятался.

Однажды, приближаясь с охоты к дому, Озермес услышал громкий смех Чебахан, доносившийся из хачеша. Свалив с плеч тушу косули и положив на нее лук и стрелы, он подошел к хачешу и остановился на пороге. Чебахан держала под мышками стоявшую на задних ногах козочку, кружилась с ней по хачешу и смеялась. — Уж не на празднество ли я попал? — спросил Озермес. — Что ты делаешь? — Чебахан отпустила козочку и растерянно уставилась на него. — Я не слышала, как ты подошел. — Он кивнул. — Об этом я догадался. Но все же, что за пляску ты с ней затеяла? — Я знаю, что бываю глупой. Но... я хотела научить её ходить на задних ногах, как люди. — Озермес посмотрел на козочку, сыпавшую на пол шарики помета и, не сдержавшись, захохотал. — Прости меня, но лучше бы ты научила ее пользоваться отхожим местом и подмываться, а то от нее такая вонь, что даже удды побоятся подойти к нашему жилью... Я принес добычу. — Чебахан, опустив голову, проскользнула мимо него, за ней, блея, побежала козочка.

Однорогая выросла и, когда наступило время обзаводиться козлом, ушла от них.

— Так почему ты поинтересовалась, помню ли я козу? — немного выждав, спросил Озермес.

— Мы помогли ей, а она нам... Все дни и ночи, как я притащила тебя, я думала, чем тебя кормить.



Три дня тому, когда я вышла по воду, из лесу прибежала коза, а за ней тот одинокий волк. Коза была вся искутана, бок разодран, она упала возле сваленного дерева. Я и вдоха не успела сделать, как Самыр бросился на волка и загрыз его. Я подошла к козе, но душа уже покидала ее, она смотрела на меня без страха, и тут я заметила, что у нее один рог. Наверно, она узнала меня, может, ждала помощи... — Чебахан сжала губы, подбородок ее затрясся. — Ты лежал, ничего не видя, не слыша, и я долго возилась, пока сняла с волка шкуру, серый не курица, его не ошпаришь кипятком и не оциплешь. Мясо и кости я отдала Самыру. — Овчарка завляла хвостом. — Однорогой я перерезала горло, чтобы выпустить кровь, а потом отрезала голову совсем и привязала к ветке клена, для Мазитхи. Кто знает, может, это он велел голодному волку погнать Однорогую к нашей сакле, а, может, она сама... Не знаю. Мяса хватит, пока ты не встанешь на ноги. Часть мяса я прокоптила...

От блаженной сытости в желудке и тепла, плывущего от очага, Озермес забрался в легкую, как утренний туман, дремоту. Слушая Чебахан, он медленно думал о том, каким извилистым непонятным путем он движется во времени — то идет уверенно, то мчится стремглав, то плетется и спотыкается. Неожиданности подстерегают человека постоянно. Ничто, например, не предвещало, что на Озермеса свалится лавина, что он не успеет убежать от нее и будет медленно умирать под снегом. Так случилось, но так могло и не произойти. Ни того, что он попал под лавину, ни того, что спасся, уяснить нельзя, даже если сослаться на волю Тха, поступки которого должны иметь разумные объяснения. Бык бросается на человека, если тот одет в красную черкеску или в красное платье, но Тха не бык, он носитель высшего разума, а не какая-то ветреная девушка, по недомыслию играющая жизнью и смертью влюбленных в нее джигитов. А если допустить, что Тха решил испытать любовь Чебахан к Озермесу, то не слишком ли дорога жизнь человека для такого жестокого испытания? Жена может любить мужа сильнее, чем себя, но не сумеет вытащить его из той бездонной черной пропасти, в которую его столкнул Тха, потому что она всего лишь



слабая женщина, владеющая только тем, что ей дано от рождения... Ни к чему биться в поисках ответа, и все его рассуждения — бессмыслица, а жизнь человека, наверно, длинная цепь недоразумений и случайностей, или не зависящая от Тха, или выкованная им не глядя. Озермес посмотрел вверх, но там был безгласный, темный, в сырых разводах потолок. Он заснул, а когда проснулся, Чебахан входила в саклю с охапкой тонко нарубленных дров. Опустив дрова у очага, она пошла к двери и ребром ладони вбила на место клин. Если бы не Чебахан, лежать ему замерзшим на снегу. Не в этом ли смысл бытия человека — не только идти дорогой жизни самому, но и поддерживать ослабевшего, поднимать упавшего? Человек, если он один, — беспомощная бабочка, носимая всеми ветрами.

— Белорукая, — позвал Озермес.

Чебахан бросилась к нему.

— Не беспокойся, мне хорошо. Я лишь хочу сказать тебе, что если, по-твоему, Самыр самый лучший в своем собачьем племени, то, по-моему, ты — самая лучшая среди женщин, живущих под луной.

— Я не сделала ни на мизинец больше, чем сделала бы любая жена, — пробормотала Чебахан.

— Ты оказалась смелой и находчивой, твой отец и мать гордились бы дочерью, которая заслужила право носить на голове папаху джигита. Помнится, я однажды уже говорил тебе об этом, а если не говорил, то должен был сказать давно.

— Не продолжай, а то я возомню о себе. О, я забыла набрать воды! — Чебахан схватила кумган, выбила клин и, распахнув дверь, выбежала наружу. Прислушиваясь к ее легким шагам, Озермес заснул снова. Спал он спокойно, и сны к нему не приходили.

Пробудила его стрела солнца, влетевшая в открытую дверь и ударившая в лицо. Он отвернул голову, открыл глаза и увидел Чебахан, с тревогой и надеждой смотревшую на него. Поздоровавшись, он стал приподниматься, посидел, медленно, с передыхами, оделся, встал, пошатываясь, как седло на слишком раскормленной лошади, вышел из сакли и схватился рукой за стену. Чебахан неслышно следовала за ним. Самыр, увидев хозяина, радостно завопил, кинулся к нему, повалился



на спину и задрал кверху лапы. Озермес почесал ему ногой живот, вдохнул вкусный, как родниковая вода, воздух и обрадовался тому, что жив, и мир не изменился. В овраге ревела вздущаяся от таяния снегов речка, а в лесу стояла тишина позднего весеннего утра, насыщенная щебетом, чириканьем и пересвистыванием птиц.

— Пусть эта болезнь будет последней в твоей жизни, — захлебываясь, сказала Чебахан, — ты поправился так быстро, что я не успела как следует позаботиться о тебе.

Ноги у Озермеса подгибались. Усмехнувшись этому, он отозвался:

— Твой муж не кукурузное зерно и не земляной червь, а мужчина с усами, я лежал столько, что тахта прогнулась до пола. И я слышу, как меня зовут зайцы, они хотят поскорее попасть в твой котел.

— Пусть еще немного потерпят.

Чебахан, улыбаясь ему через плечо, пошла за чем-то к пещере, а он весело поздоровался с Мухарбеком.

Два лета тому Озермес приметил, что верхушка высокого пня от упавшего явора походит на голову человека, подрубил топором верх пня, вытесал из утолщения папаху, потом кинжалом вырезал нос, глаза, усы и бороду, длинную, спускающуюся к земле. Чебахан, издали недоуменно поглядывавшая на Озермеса, подошла, присмотрелась к пню и ударила руками по бедрам. — О, это ты сделал из дерева Мухарбека?! — Мухарбека? — удивился Озермес. — Он совсем, как старший брат моей матери! — Будь по-твоему, Мухарбек так Мухарбек. — Озермес отступил на шаг и полюбовался творением своих рук. Мухарбек получился, как надлежит старому человеку, суровым и задумчивым, хотя и безбровым. С того дня, сперва шутливо, потом привычно, они по утрам здоровались со стариком, а с наступлением ночи, если не забывали, желали ему спокойно бодрствовать.

Появился и ушел новый день, за ним промелькнули ночь, и еще день и ночь. Чебахан заготовила дорожную еду. Озермес снял с колышка над тахтой Чебахан ружье, протер его жиром и подсушил порох, которого



оставалось не больше, чем на десять-двенадцать выстрелов. После этого ружье станет не более полезным, чем обитая железом дубинка. Однако пускаться в долгий путь без огнестрельного оружия было бы неосмотрительно. Все наиболее нужное они перенесли в пещеру и основательно завалили вход валунами. На столе в хачеше оставили вяленое мясо и кумган с водой. Огонь в летнем очаге не гасили, чтобы он, когда у него кончится пища, уснул сам, а горсточку жара перенесли в казанок, засыпали пеплом и сверху заложили сырым мхом. Дверь в саклю Озермес закрепил, вбив два колышка в щель между дверью и столбом.

— Муж мой, — дрогнувшим голосом спросила Чебахан, — а мы вернемся?

Он удивленно взглянул на нее.

— Почему ты спрашиваешь об этом?

Она повела плечами и посмотрела в сторону кладбища.

— Мы будто прощаемся. Вспомнила, как уходили из аула...

— Может, тебе все-таки лучше остаться?

Она помотала головой.

— Нет. Уже прошло... Наверно, это оттого что я женщина. Не помню, бабушка или мама, кто-то из них говорил: женщине легче приходить, чем уходить.

— Всем так, — сказал Озермес. — Думаю, что если Тха не сбросит нас в пропасть и Шибле не заберет тебя и меня к себе, мы вернемся вместе с рождением новой луны. До свидания, дядя Мухарбек, не впускай в саклю удды.

И они на время покинули поляну. Прыгавший по траве черный дрозд издали подразнил Хабека,<sup>1</sup> повертел своим желтым клювом и весело засвистел, желая им доброго пути.

Озермес нес ружье, лук со стрелами, топор, кожаный мешок с дорожным припасом, туда же он засунул и камыль, и изрядно полысевшую бурку. Сворачивая ее, Озермес подумал, что бурка, как и его черкеска и

---

<sup>1</sup> Хабек — сын Самыра и волчицы, об этом рассказано во второй части романа.



платье Чебахан, висящие на колышках в сакле, скоро обветшает, и им придется до конца дней своих ходить в шкурах. А тот, кто должен родиться, и другие, если они народятся вслед за ним, никогда не будут носить своей адыгской одежды. Ноша Чебахан состояла из заячьего покрывала, казанка с дремлющими углями и казана побольше, пустого. Самыр бежал впереди, время от времени вспугивая то куниц, то уларов, поворачивал к Озермесу свою лобастую голову и спрашивал глазами: будешь стрелять?

— Пусть, пусть себе живут, — отвечал Озермес, — не обращай на них внимания.

Хабек носился по кустам, догонял Самыра, возвращался к Чебахан и Озермесу, снова бежал за Самыром, но стоило Чебахан сказать: — Вот неугомонный! — как он попросился к ней на руки и сразу заснул.

Мир устроен так, что людям приходится жить в неопределенности и в колебаниях. На что решиться, как быть? Куда двигаться, идя по степени, свернуть ли на восходящую сторону, или на заходящую, или пойти прямо, по направлению к верхней? Убегать ли от волков или шагать навстречу волчьей стае? Пытаться предугадать, каким будет завтрашний день или полагаться на милость Тха, пусть все решит небо? Неуверенность разъедает человека, как гноящаяся рана. Чтобы ее излечить, надо не сидеть в раздумьях у костра, а встать, взяться за лопату и копать землю, или, схватив топор, валить состарившееся дерево, или идти туда, куда надо идти.

Пустившись в путь, Озермес уже не торопился быстрее подняться на Ошхамахо. Какая разница, доберется ли он до вершины днем раньше или днем позже? Передвигались они медленно, делая привалы через каждые два-три крика. Когда спускались в ущелья и долины, Ошхамахо скрывался из виду, а если шли верхом, по гребню какого-нибудь хребта, открывался во всем своем величии и, казалось, что чем ближе они к нему подходят, тем упорнее он отдаляется от них и становится выше и выше.

Посмотрев на озаренную солнцем вершину, ниже которой, подобно ягненку, прижавшемуся к овце, лепилось к склону белое облачко, Озермес вдруг ощутил такой



же веселый азарт, какой испытывали на празднествах он и его ровесники, когда оглядывали гладко обтесанный, смазанный жиром столб, на котором стояла корзинка с ореховой халвой. Влезть на столб, снять корзинку и, соскользнув вниз, заслужить похвалу старого тхамады или джегуако жаждали все, но халва и одобрение доставались лишь одному, самому ловкому и цепкому. Предвкушая, как он поднимется на поднебесную высоту, на ту вершину, до которой с тех времен, когда из студенности возникли горы, добрался только один человек, как он, выпрямившись во весь рост, подобно Богу, окинет взглядом расстилающуюся под ним землю, Озермес забывал, что восхождение на Ошхамахо было для него не целью, а единственной возможностью приблизиться к Тха.

Вечерами он про Ошхамахо не вспоминал. Подыскав укромное, прикрытое от нижнего ветра местечко где-нибудь под сосной или елью, поблизости от ручья, Озермес принимался собирать валежник и обрубал еловые лапы для подстилки. Чебахан разжигала костер, варила в казане или поджаривала на углях мясо, Самыр, сидя на почтительном расстоянии, пускал слюну и ворчал на Хабэка, покусывающего его за лапу. Поев, располагались у костра, Чебахан брала на руки Хабэка, Озермес, почесывая спину извивающегося от удовольствия Самыра, запевал любимую врачевальную песню Чебахан о коне сером, снегом-льдом питающемся. Они перебрасывались словами, беседуя о том, о сем, или молчали, сливаясь с окружающим их покоем.

Немного погодя устраивались на ночь. Чебахан, пожелав всем доброго сна, прикрывала лицо от яркого света круглой луны и засыпала. Озермес продолжал сидеть у костра, прислушивался к дыханию Чебахан, и ему чудилось, хотя этого не могло быть, будто дышат двое — мать и ребенок. Хабэк, свернувшись клубком и прикрыв нос кончиком хвоста, вздрагивал во сне. Только Самыр не ложился, до утренней зари он бегал вокруг спящих и угрожающе порывивал, отпугивая волков, клятвопреступниц-лис и почему-то поднявшихся сюда шакалов. Волки и лисы бродили бесшумно, а шакалы или завывали с разных сторон, или, собравшись вместе, плакали, как дети. Наслушавшись шакаль-



их жалоб, Озермес клал возле себя ружье, лук, стрелы и кинжал, забирался под бурку, головой к ногам Чебахан и, лежа с открытыми глазами, внимал шумам ночной жизни, ее непонятым шорохам, потрескиваниям валежника, следил за скольжением таинственных теней, мелькавших среди деревьев и кустов. По светлому небу, подобно чьей-то неприкаянной, страдающей душе, проносилась черная сипуха. В листве согнутого старика-граба загорались желтые глаза филина. Они казались глазами самого Тха, и Озермес, на которого медленно наваливался тяжелый сон, слышал сердитый голос: куда идешь ты, жалкий человек, понимаешь ли, на что замахиваешься? Озермес тщился ответить Тха, но его сковывала немота...

Просыпался он от чьего-то пристального взгляда, открывал глаза и видел перед собой морду Самыра, который, помаргивая от нетерпения, смотрел ему в лицо. Увидев, что Озермес проснулся, Самыр весело взвизгивал и отбегал к Чебахан, сидящей на корточках у костра. Начиналось новое, свежее, полное обещаний утро. Озермес вскакивал и бежал к ручью умываться.

Чебахан шла легко, не жалуясь на усталость, широко раскрытыми глазами смотрела вокруг, с улыбкой просыпалась, с улыбкой же засыпала. Как-то во время дневного привала она с нежностью на что-то уставилась. Озермес проследил за ее взглядом и увидел птенца горихвостки, которого его черно-красная мать обучала летать. Птенец, трепеща крылышками, перепрыгивал с камня на камень, взбираясь все выше, к краю обрыва, где его ждала мать. Усевшись рядом, малыш выслушивал советы матери, потом начинал подпрыгивать на месте и одним глазком поглядывал на крутой откос. Решившись наконец, он расставлял крылышки и с писком летел вниз. Мать, кружась под ним или рядом и ободряюще щебеча, сопровождала его, пока он не плюхался на ножки. Рассмеявшись, Чебахан посмотрела на Озермеса.

— Маленькой я забралась на высокую грушу, а слезть не смогла и стала звать на помощь. Отец вышел, посмотрел на меня и заворчал: как залезла, так и слезай. Я захныкала: боюсь, упаду! Тогда он поз-



вал мать, показал на меня и спросил: видала котенка? Мать засмеялась, вынесла из сакли ковер, они натянули его, и я спрыгнула. — Глаза Чебахан затаило дымкой, душа ее унеслась вдаль, но ненадолго, снова посмотрев на горихвостку и ее птенца, она сказала: — Все матери одинаковы.

С восходящей стороны подул порывистый ветер. На деревьях зашелестела листва. И до Озермеса донеслись, словно сказанные шепотом, слабое ржание лошади, тихое протяжное мычание коровы и приглушенный голос, зовущий кого-то, старой женщины. Он замер и увидел потемневшие глаза Чебахан.

— Ты ничего не слышал? — спросила она.

— Ты тоже?.. А я подумал, что мне показалось.

Ветер пронесся дальше, все стихло, а они сидели молча, глядя друг на друга.

Чебахан посмотрела на ловившего блох Самыра и кивнула на него.

— Он ничего не слышал. Разве здесь может быть аул?

— Так высоко в горах люди не живут, — продолжая прислушиваться, сказал Озермес. — Что ты услышала?

— Ржала лошадь, мычала корова, женский голос. Мне показалось, что меня зовет мать.

— А мне, что это кричит жена Безусого Хасана. Голоса прилетели откуда-то очень издалека.

— Если аул на расстоянии больше, чем один крик, ничего не услышишь. А это не могли быть души умерших?

— Душа безмолвна. И летает беззвучно, как звезда Абрек.

Чебахан вздохнула. Лицо у нее было как у человека, только вынырнувшего из глубокой воды.

— Тогда что же это было? — с боязливым недоумением спросила она. Ободряя ее, Озермес усмехнулся и пожал плечами. Но она все равно смотрела на него, соединив свои шелковистые брови.

— Напоминание об ушедших, — сказал он первое, что попало на язык. — Может, ветер, пролетая две-три или четыре зимы назад над каким-то аулом, подхватил его голоса и унес их с собой. Аула давно нет, и



старая женщина умерла, и лошадь с коровой околели, а голоса их продолжают летать над землей. Или будут странствовать вечно, или исчезнут вместе со смертью ветра.

У Чебахан дрогнули губы.

— Муж мой, ты придумываешь, чтобы утешить меня?

— Утешить?

— Да. Чтобы я не огорчилась, что здесь нет аула.

— Не потому, белоручка? Я ищу объяснения.

— А разве все можно объяснить? Я многое чувствую, но рассказать словами о том, что во мне, не могу. Мне было бы легче, если б я поверила, что в самом деле слышала голос матери.

— Ты вполне можешь верить в то, что слышала ее голос. Ведь ветер, который принес голоса, мог подхватить их, пролетая над твоим аулом.

— Ты не обманываешь, ты в самом деле так думаешь?

Он улыбнулся и погладил ее по щеке.

Взяв свою поклажу, они пошли дальше.

Ночью Озермеса разбудил лунный свет, пробившийся сквозь сосновую хвою. Некоторое время он лежал неподвижно, слушая лесные шорохи. Чебахан, перевернувшись с боку на бок, пробормотала: — Мама... — Он поправил на ней съехавшую с плеча бурку, встал, подбросил в костер сучьев, поговорил с Самыром и снова лег. Что-то щемящее и тоскливое зашевелилось в нем, как на дне реки во время весеннего половодья начинает от напора воды ворочаться невидимый сверху камень. Озермес подумал о том, где ему оставить Чебахан, Самыра и Хабека, когда они подойдут к подножью Ошхамахо, потом задумался о принесенных ветром голосах. Пожалуй, ничего загадочного и необъяснимого не было, Чебахан и он вспоминали свои аулы и слышали в шуме ветра голоса своего детства. А то, что оба они слышали ржание коня, мычание коровы и зов женщины одновременно, объясняется совсем просто: когда два человека долго живут вместе, мысль одного мгновенно передается другому. Он помнил это по странствиям с отцом, им тогда не раз приходилось одновременно заговаривать об одном и том же. Наверно, все прои-



зошло именно так. Но несмотря на это разумное объяснение случившемуся, то, что он придумал о голосах, странствующих с ветром, показалось ему более правдивым, чем действительность. Он догадывался, что еще не раз услышит зов старой женщины, ржание коня и мычание коровы, и они будут звучать в ушах его до тех пор, пока он не сложит песню о безвестном погибшем ауле и голосах ушедших, вечно носимых ветром над обезлюдевшей землей. С тем он заснул, с тем и проснулся.

Горы, издали представляющиеся живущему на равнине человеку одинаковыми, разнообразны, как мир. Ничего вокруг Озермеса и Чебахан не повторялось. Растущая на скале, впитавшая в себя желтые солнечные лучи сосна, или кряжистый, поросший седым лишайником почтенный дуб, или одетая в темно-зеленый сай<sup>1</sup> красавица ель, будто в танце раскинувшая свои мохнатые руки, отличались от своих сородичей, как человек отличается от человека. Похожи и не похожи были буковые леса и березовые перелески, по-разному гляделись согретые солнцем долины и кажущиеся бездонными пропасти, в глубине которых пряталась ночь; не походили друг на друга каменные обрывы — серые, желтые и красноватые, разными голосами пели свои песни ручьи и рокотали, разбиваясь о гладкие камни, большие и малые водопады.

Все виденное раньше и открываемое заново многообразие окружающего утомляло глаза Озермеса и переполняло его, как подставленный под обильную струю воды котел. Чтобы не захлебнуться, он, когда они шли прямым, без подъемов и спусков, нагорьем, объявлял: — Песня укорачивает дорогу! — и принимался, подражая погонщику быков, петь обо всем том, что видел, подшучивал над толстухой, похожей на молодую медведицу Чебахан, над круглым, как колесо, хвостом Самыра и над маленьким бездельником Хабекком. Волчонок, плохо еще знавший язык человека, песен не понимал, Чебахан сдержанно посмеивалась, и Самыр, вторя ей, снисходительно скалил в ухмылке свои белые зубы.

---

<sup>1</sup>Сай — женское платье, род бешмета.



Вскоре леса поредели, потом позади осталось и мелколесье. Отстали, словно провожавшие Озермеса и Чебахан, шакалы, исчезали дрозды и кеклики, лисы и зайцы. Ночи стали холоднее и от тишины тревожнее. Чебахан чаще останавливалась, чтобы перевести дух, ее навещали дурные сны, о которых она не хотела рассказывать.

Однажды, проснувшись, она испуганно спросила:  
— Что случилось?

— Ничего, ничего, — успокоил ее Озермес.

Пробравшись сквозь густые заросли высоких, в два человеческих роста, многоцветных, разно пахнувших трав, они поднялись к болотным лугам, заросшим худосочной осокой, и остановились. Чебахан, опустив наземь свою поклажу, села спиной к холодному ветру. Самыр, за ним Хабек стали обнюхивать траву. Озермес осмотрелся. Кое-где, подобно островкам, торщились, похожие на загривок кабана, низкие ползучие кусты, а между плоскими серыми глыбами белели пушистые шарики одуванчиков и покачивались на стройных стебельках ярко-голубые, словно сделанные из жести, колокольчики. Выше на склоне вздымались острые скалы. В ложбинах между ними белели старые, нетающие летом снега, усыпанные сверху камнями. С высоты к лугу сползали толстые зеленоватые языки льда. Головы Ошхамахо видно не было, ее закрывали низкие, медленно оплывающие мощное туловище горы сизые облака и темные, как воронье крыло, тучи.

Воздух был холодным и пустым, потому что не содержал в себе ни пылинок земли, ни цветочной пыльцы, ни запахов листвы и трав.

Оглядев нагорье, скалы, снега, лед, зябнувшую Чебахан и спрятавшихся от ветра за камень Самыра и Хабек, Озермес подумал, что с приближением к небу колесо времени изменило свой ход: оно либо завертелось обратно, возвращая их к прошедшей зиме, либо, ускорив вращение, приближает к новой, которая засыплет снегом их поляну внизу еще не скоро. Неужели колесо времени во владениях Тха стоит, не вращаясь, как останавливалось оно для Озермеса, когда он лежал под лавиной? Может быть, Тха живет вне времени? Не сумев ответить себе, Озермес подумал о другом, о том,



что оскудение растительности, исчезновение живности, опустение и суровость, которые усиливались с их приближением к вершине Ошхамахо, могут быть и предупреждением об отстраненности Тха от всего земного и его недоступности для человека. Но подумал он об этом безразлично, как о чем-то не имеющем к нему отношения. Ни это стало теперь важным для него, и ни то, что он будет вторым человеком на земле и первым из джегуако, взошедшим на Ошхамахо, — кто, в конце-концов, узнает об этом, кроме Чебахан? — главным было другое — довести намеченное до конца, чтобы в будущем, до тех пор, пока душа не покинет его, сознавать, что он достиг поставленной перед собой цели.

Теперь следовало побыстрее подыскать пристанище для Чебахан, Самыра и Хабека, спуститься пониже, нарубить сухих сучьев для костра и, не откладывая, пойти к вершине. Он прикинул, что нагорье, на котором они остановились, находится на уровне пояса Ошхамахо и до головы его, наверно, не более, чем три-четыре крика. По равнине такое расстояние можно пройти запросто, даже не заметив пройденного пути, но здесь придется лезть в гору, среди скал, по льду и снегу, остерегаясь лавин, расщелин и осыпей. Лучше, пожалуй, обойти туловище Ошхамахо по поясу и поискать более безопасной дороги наверх. А ведь издали склоны Ошхамахо не выглядели такими крутыми, по ним, казалось с большого расстояния, можно было въехать на арбе, запряженной сильными быками.

С левой стороны нагорье подходило к пропасти, из которой выплывали хмурые мокрые тучки. Чебахан, накинув на себя заячье покрывало, направилась к пропасти, наверно, чтобы посмотреть на горы сверху. Озермес крикнул ей:

— Осторожнее, белорукая, не подходи к обрыву.

Она замедлила шаг, потом отпрянула и, повернувшись, замахала ему рукой.

Он, взяв топор и досадуя на задержку, направился к ней.

— Что ты там увидела?

На расстоянии в четыре прыжка от края пропасти



ти поднималась заостренная, неприступная, с гладкими стенами скала, на которой прочно сидело большое, похожее на расстрепанную шапку, сложенное из толстых переплетенных сучьев гнездо. Из гнезда высывалась крупная светло-желтая птичья голова на длинной серой шее, с загнутым книзу клювом и остроконечной, как у муллы, черной бородой. Из гнезда доносилось курлыканье.

— Кто это? — прижавшись к плечу Озермеса, спросила Чебахан.

Услышав ее голос или заметив их, птица повернула к ним голову. У нее были пронзительные белые глаза в красных кружочках. Озермес подумал, что если бы Тха понадобился стражник, преграждающий человеку доступ к нему, ничего более жуткого, чем эта птица, он бы создать не смог. И тут же вспомнил Безусого Хасана, рассказывавшего об огромном бородачорле, который живет где-то за облаками и похищает из отар маленьких овец и ягнят.

— Знаю, кто это, — сказал он Чебахан, — его называют бородачом, крадущим ягнят.

Бородач, курлыкнув, поднялся, встал на край гнезда, вцепившись когтями в сук, и заворочал своей хищной головой. На ногах у него были длинные, до самых когтей, штаны из серых перьев. Осмотревшись, он распахнул длинные узкие крылья, по-человечьи свистнул и полетел, описывая круги и медленно поднимаясь. Когда тень от бородача заскользила по лугу, Самыр в один прыжок оказался возле Хабекы, навалился на него грудью, подмял под себя и, задрав морду, оскалил зубы. Хабек, ничего не поняв, взвизгнул, выбрался из-под Самыра и, скуля, побежал к Чебахан. Она подняла волчонка и прижалась щекой к его шерстке.

Озермес наблюдал за полетом бородача. Немного поднявшись, тот, не шевеля крыльями, удалялся, все уменьшаясь, пока не растворился в небе.

Все, что было внизу, и черные лесистые хребты, и глубокие ущелья, и просторные луга, все сливалось воедино, в голубоватую, испещренную какими-то светлыми пятнышками равнину, похожую на поверхность моря, которую рябит ветерок. Многоцветной, многоголосой земли словно не существовало. Озермес огор-



ченно вздохнул, ибо в нем все время жила надежда на то, что с Ошхамахо он сумеет увидеть и Кавказ, и море, за которое ушел его отец.

Постоянно дувший ветер был бесшумным. В мертвой тишине слышались лишь непонятный, напоминающий разговор иноземцев, скрипучий говор птенцов бордача в гнезде и затрудненное дыхание Чебахан.

Из пропасти поднялось темное облако, окутало и обрызгало холодными капельками воды.

— У-у... — Чебахан поежилась. — А снизу облака кажутся теплыми.

На мгновение ослабнув, Озермес, как в мутную воду, погрузился в омут неопределенности с ее извечным вопросом: что будет? Ничего постыдного, недостойного мужчины в его слабости не было. Те люди в ауле, которые, делая выбор — уйти им или остаться, решили не уходить, а защищать аул, тоже безмолвно вопрошали у Тха и у самих себя, что же с ними будет... Он обтер влажное лицо ладонью, посмотрел на солнце, уже проделавшее половину своего пути, и, заторопившись, сказал, чтобы Чебахан поискала в скалах под обрывом какую-нибудь пещеру. Она молча кивнула. Озермес не помнил, говорил ли он ей раньше, что на вершину Ошхамахо поднимется один, кажется, не говорил, но Чебахан не просила, чтобы он взял ее с собой, наверное, потому, что и она, не спрашивая его, сама сделала свой выбор.

Озермес побежал вниз, отыскал несколько старых, умирающих кустов и нарубил сучьев. Когда он вернулся, Чебахан сказала с довольной улыбкой, что Самыр помог ей найти надежное пристанище.

— Я ходила среди скал, искала, он откуда-то залаял, я повернулась и вижу — из вон той норы торчит его хвост...

Низкая, с узким лазом пещера, была, видимо, чьим-то брошенным логовом, на сухом полу валялись слежавшаяся трава и ошметки шерсти. Озермес забрался внутрь, осмотрелся и, выбравшись наружу, сказал, что ничего лучшего найти невозможно.

— Вы вполне поместитесь там. Самыр пусть лежит у входа. Снаружи поставь казанок с огнем. Если даже хозяину логова взбредет в голову вернуть-



ся, огонь отпугнет его. До воды близко, видишь озеро? Там чисто, это растаявший лед.

Чебахан, соединив свои шнурки-брови, внимательно слушала его. Занеся в пещеру поклажу, он с сомнением произнес:

— Не знаю, как быть с ружьем, луком... Не стоит, пожалуй, идти на Ошхамахо с оружием, кто знает...

У Чебахан потемнели глаза, она хотела что-то сказать, но в это время в небе раздалось посвистывание. Они увидели бородача, который с каким-то рыжим зверьком в когтях, сложив крылья, стремительно падал, словно задумав разбиться о скалы. Хабек, услышав свист, оскалившись, юркнул в пещеру, Самыр, показав клыки, заметался и сел, подняв глаза к небу. Не долетев до нагорья, бородач распростер крылья, описал над лугом круг и скрылся за краем пропасти. Чебахан облегченно вздохнула.

— Я думала, бородач свалится нам на головы. Кого он добыл?

— Не узнала? Клятвопреступницу-лису, по-моему, она еще жива была. Что ж, белорукая, здесь вы будете в полной безопасности, вас бородач не тронет, а чужие сюда и близко не подойдут. Тот, кто устроил себе логово рядом с таким страшным соседом, был не глуп.

— А кто мог жить здесь?

— Не знаю, может, барс. Заберись в пещеру, белорукая, полежи, поспи. Хабек все-таки держи при себе. Мне пора, Самыр, ты останешься. Да, да, ты будешь здесь!

Самыр огорченно взглянул на него, отвернулся и, поджав хвост, уселся у входа в пещеру.

— У-у, как же я забыла, — всполошилась Чебахан. — Подожди!

Она влезла в пещеру и выбралась оттуда с куском вяленого мяса.

— Возьми, вдруг проголодаешься. Да будет путь твой легким, муж мой.

Озермес, кивнув, взял мясо и сунул его за пазуху. Чебахан присела, вытащила из казанка мох и, сощурившись, чтобы пепел не попадал ей в глаза, стала раздувать спящие угольки.



Озермесу захотелось сказать ей: не беспокойся за меня, но если я не вернусь через два, от силы три дня, уходи отсюда, не вздумай искать меня. Самыр доведет тебя до поляны, а потом... Тут мысль его словно оступилась и захромала, ибо додуматься до того, как быть Чебахан, оставшись одной и, время спустя, вдвоем с ребенком, он не смог. Чебахан, подняв голову, вопрошающе посмотрела на него ясными, спокойными глазами, и он, устыдившись своих несказанных слов, напустил на лицо строгость, прощально махнул рукой, одним прыжком перескочил через отражавшее облако озерцо и, не оглядываясь, зашагал среди валунов.

Что он просчитался, предполагая, будто расстояние до вершины всего лишь в три-четыре крика, Озермес понял, когда солнце, переехав через свой верхний перевал, стало медленно скатываться вниз. Не зная усталости, он, возможно и от того, что слишком быстро шел, почти бежал, ощущал одышку и тяжесть в голове. Временами казалось, будто кто-то бьет его кулаком по вискам. Азарт снова ожил в нем и подгонял, как плеть подстегивает коня, но, несмотря на стремление поскорее добраться до вершины, он был вынужден пойти медленнее.

Вокруг Озермеса и в небесном просторе никого не было. Не иначе, как Тха не подпускал к себе никого из живущих на земле. Озермес остановился, отгоняя боль, потер виски рукой и задумался. Не только Тха никому не даёт подойти близко к себе, так же поступает и самый обычный, даже маленький, только родившийся костер — попробуй прикоснуться к нему! Что ж, значит так оно и должно быть, и с этим ничего не поделаешь. Может, всё-таки вернуться? Чебахан не осудит его, презирать же себя будет только он сам. Нет уж, если джигиту, имя которого он не знает, удалось взойти на вершину, заберется туда и он, хочет ли того Тха или не хочет. Да и как знать, может, на Ошхамахо, кроме того кабардинца, поднимался еще кто-нибудь другой. Озермес зашагал дальше.

Идти приходилось, глядя под ноги, чтобы где-нибудь не оступиться и не упасть. Он немало, сбиваясь с направления, поплутал, когда по-волчьи осторожно ступая, обходил глубокие трещины в ледниках, час-



то прикрытые снегом. Стоило провалиться в какую-нибудь из расщелин, чтобы навсегда остаться там. Ниже по склону ему попадались на глаза сосны с зеленой хвоей, когда-то схваченные льдом и лишенные души. Знакомую опасность таили и крутые снежные, казалось, мирно спящие откосы. В одном месте, по-звериному почуяв неладное, Озермес остановился, отступил, и вовремя. Через мгновение впереди сорвалась и с гулом обрушилась лавина.

Пройдя сквозь пелену облаков и намокнув, Озермес вышел к склону по нижней стороне и присел, чтобы передохнуть и обсохнуть под жарким солнцем. В ушах у него шумело, как шумит листва на деревьях от ветра, перед глазами, несмотря на закатное солнце и ослепительное отражение его от заснеженных полей, колыхался прозрачный, похожий на дымок от умирающего костра, туман. Озермес не стал рассматривать окружающее и, чтобы дать отдых глазам, смежил веки и закрыл лицо руками.

Спустя время он опустил руки, открыл глаза и застыл от неожиданности: по всему белому полю, насколько мог дотянуться взгляд, стояли то толпою, то порознь, огромные черные окаменевшие быки, туры, великаны-люди, валялись каменные птицы с обломанными крыльями и никогда не виденные им чудища. Спина Озермеса меж лопаток похолодела, и волосы под шапкой зашевелились, хотя пугаться неподвижных, мертвых окаменелостей было нечего. Он протер слезившиеся глаза, встал и направился к ближайшей скале. Издали она казалась крупной, в три человеческих роста, головой на широченных опущенных плечах, с бугристым, обросшим растрепанной бородой лицом и глубоко вдавленными, с колесо повозки, закрытыми глазами. Туловище великана по грудь ушло в снег и землю. Подойдя, Озермес прикоснулся рукой к пористому, как кожа старика, бурому камню и посмотрел на другие скалы. Их было много, давних обитателей земли — людей, животных, еще каких-то существ, они, видимо, умирали, обращаясь в камень, в мучениях, и многие из них стояли теперь скорченными, согнутыми, безгласно взывающими к небу. В давно минувшие седые времена обитатели зем-



ли собрались вместе и пошли с каким-то своим делом на Ошхамахо, чтобы встретиться с Тха, но тот разгневался, обратил их в камень и оставил стоять на склоне горы, как предостережение тем, кому вздумается нарушить его покой.

У Озермеса стали мерзнуть ноги. Он еще раз окинул взглядом бескрайнее кладбище за что-то превращенных в черные скалы древних обитателей земли, и всмотрелся в тех, кто был поближе, чтобы запомнить их и потом, спустившись к Чебахан, спеть ей песню о черном кладбище. Пора было идти. Солнце стремительно падало. До вершины, казалось, совсем близко. Если он не успеет взойти на вершину при свете дня, Солнце вышлет на ночное небо свою сестру Луну, и та покажет Озермесу путь по крутому, покрытому глубоким снегом, склону.

Хотя Озермес, как показалось ему, стал легче, ослабевшие ноги передвигались труднее и голова кружилась. Его стало подташнивать. Сунув руку за пазуху, он достал вяленое мясо, откусил немного и принялся жевать его.

Солнце упало за край земли, как подстреленное, и залило своей красной кровью небо и снега. Время спустя небо полиняло, но снег продолжал отсвечивать розовым. Немного погодя снег, как и небо, стал синим, потом голубым и угас.

Озермес поднимался, то по колено, то по пояс проваливаясь в сухой снег. Лоб и щеки были потными, а за уши покусывал мороз. Он останавливался, совал озябшие руки под мышки и ждал, пока не успокоится торопливо бьющееся сердце. Иногда посматривал вниз, но там не было ничего, кроме нагромождения похожих на горы мрачных темных туч. Собравшись с силами, он набычивался и снова лез выше.

Озермес чувствовал, что уже не обманывается, что до вершины действительно осталось совсем немного, и ни о чем больше не думал, ни о встрече с Тха, ни об оставленной в пещере Чебахан. Не ощущая мороза, преодолевая слабость, он упорно карабкался вверх.

Забрезжил, отражая посветлевшее небо, снег, снизу, с восходящей стороны выплыла белая луна, и



Озермес увидел, что подъем кончился, и он стоит на младшей вершине Ошхамахо. Она была похожа на большую, с обломанными краями чашу, засыпанную снегом. Он стоял на краю чаши, а по другую сторону ее опускалась, похожая на седло, перемычка, соединявшая младшую вершину со старшей, которая была выше сестры на две поставленные одна на другую сосны.

Снега, нетронутые, безо всяких признаков минувшего или нынешнего бытия, покоились, холодно мерцая под светом висевшей за спиной у Озермеса луны. Ноги у него подогнулись, и он опустился на снег, открыв рот и жадно заглатывая редкий воздух. Он не испытывал ни радости от своей победы, ни огорчения от пустоты. Старшая вершина колебалась перед его глазами, как покачивается от ветра макушка дерева, и казалось, что она плывет среди звезд. Хватит ли у него сил взобраться и на нее? Озермес смахнул с усов иней и, чтобы отогреть лицо и руки, стал оттирать ладонями лоб, нос и щеки. Губы у него распухли, в глаза будто попал песок. Чтобы не видеть искрящегося снега, он зажмурился. А надо ли подниматься на старшую вершину, ведь и там, скорее всего, такая же мертвая тишина, такое же отсутствие земной и небесной жизни? Где завершился путь джигита-кабардинца, здесь или там, и не оставил ли он на старшей вершине какого-нибудь знака — памяти о себе? Нет, слабости сдаваться нельзя. Плох и тот джегуако, который обрывает свою песню, не допев ее до конца, и тот мужчина, который останавливается, не дойдя до цели. Он доберется до старшей вершины, даже если у него отвалятся ноги и руки!

Отодвигая время, когда придется встать на окостеневшие ноги, Озермес открыл глаза, пошевелил сперва одной ногой, потом другой, и, наконец, рывком поднялся. Преодолев головокружение, он пошел, обходя вершину по краю, чтобы не провалиться посередине в глубокий снег, и направился к седловине. Упав всего лишь раз, спустился к затененной перемычке, как широкий мост, соединяющей вершины, перебрался по ней и, подобно волку, передвигающемуся по глубокому снегу, пополз вверх, зарываясь иногда го-



ловой в обжигающий лицо снег. Время от времени он делал короткие привалы и растирал немеющие руки.

Хотя старшая вершина была немногим выше младшей, вечность прошла, пока Озермес взобрался на нее. Когда оказалось, что выше подниматься некуда, Озермес встал, распрямился, вытер пот с обожженного морозом лица и ухмыльнулся, как мальчишка, вскарабкавшийся на смазанный жиром столб. Здесь, как и на нижней вершине, было похожее на чашу углубление с обломанными краями и лежал нетронутый, без всяких признаков жизни, сверкающий, как начищенное серебро, снег.

Озермес посмотрел вниз. Во все стороны — нижнюю и верхнюю, восходящую и заходящую, простиралась озаренная луной волнистая, закрывающая землю облачная степь, с холмами и овражками, застывшими озерами и речками. Все, казавшиеся Озермесу бесконечными, земные дали были ничто перед этим, не имеющим ни конца, ни края простором. А над ним раскрывалось небо, еще более величественное, расходящееся и вширь, и вверх, усеянное бесчисленным количеством разноцветных звезд. Отсюда они казались более яркими и более далекими, чем виделись с земли. От одного края неба до другого протянулась переливающаяся голубыми огоньками Тропа всадника. На обочине ее мигали Семь братьев-звезд и поблескивала маленькая Низовая. Светилась на склоне зеленая Вечерняя звезда и, чуть повыше, вращалась, вспыхивая красным огнем, предвестница счастья звезда-Кан. А где-то далеко за ними слабо переливались поля никогда не виденных Озермесом, крохотных, как песчинки, звездочек. Кривая, подтаявшая у одного края луна, лила свой свет на облачную степь и снега на раздвоенной голове Ошхамахо. Темно-желтые пятна на луне — пасущаяся отара и чабан, двигавшиеся, когда Озермес в детстве смотрел на них, казались такими же лишенными души, как и черные скалы, к которым он подходил на исходе ушедшего дня.

От захватывающей дух красоты мерцающего неба веяло смертоносным холодом. Звездная вселенная то ли жила недоступной пониманию Озермеса,



чуждой земле жизнью, то ли пребывала в вечной смерти. Посмотрев на свою шевельнувшуюся тень, Озермес подумал, что он, наверно, единственное существо во всем необъятном небе, в ком этой ночью бьется земная жизнь. Надежда на встречу с Тха, вопреки сомнениям все-таки трепыхавшаяся в нем, оказалась тщетной. Разве что Тха обитает еще выше, на во веки веков непреодолимом для людей расстоянии.

Озермесу стало холодно и тоскливо. Чувство невыносимого одиночества пронзило его, как стрела из самострела, а тишина окружающего показалась жутким безмолвием могилы. Чтобы нарушить ее и не быть одному, он крикнул:

— Все-таки я залез сюда!


Охрипший голос его прозвучал, как слабый шепот умирающего. Ободряя себя, он закричал во все горло:

— Тха, я здесь, на Ошхамахо!


И снова еле расслышал свой угасающий голос. Эхо не поднималось сюда, оно жило только там, внизу, где была жизнь. Даже если какая-нибудь звезда возопит неслышанным голосом, её никто не услышит. Звезд в этом захватывающем дух просторе не счесть, но все они одиноки и не слышат друг друга. Человеку среди них не было места, даже если кто-нибудь чудом ухитрится проникнуть в звездный мир, он окажется там чужим.

Окинув прощальным взглядом небо, Озермес стал съезжать по откосу. Когда он спустился к седловине, его снова затошнило. Он сел, обхватив руками заболевшую голову. Перед глазами, застилая лунный свет, мелькали серые тени. Надо было скорее уходить отсюда. Чтобы не карабкаться на младшую вершину, — на это у него не хватило бы сил, — Озермес стал спускаться новым путем, прямо с седловины и, чтобы не скатиться по крутому откосу, втыкал в промерзший снег кинжал, придерживая скольжение. Сперва все обходилось благополучно, но время спустя он наскочил на горбатый сугроб, перелетел через него, ударился обо что-то головой, и душа вознамерилась оставить его, но он удержал ее, под-



нялся и стал искать шапку и вылетевший из  руки кинжал.

УДИВИТЕЛЬНО

Шапку Озермес нашел сразу, а кинжала  было. Но он отыскал и его, стряхнул с себя снег и, не поддаваясь желанию сесть и передохнуть, побрел по нагорью дальше.

Временами чудилось, что он идет во сне, что сверкающий снег вокруг него лишь мерещится ему. Надо было сделать над собой усилие, чтобы освободиться от тумана, застилающего ему глаза, но на усилие это у него не осталось сил. Вскоре Озермесу показалось, что впереди затемнело что-то, похожее издали на спящего человека. Неужели в этой пустыне, кроме него, мог быть еще кто-то живой? В это было трудно поверить. Озермес ускорил шаг и увидел старца со светящимся лицом, в худой черкеске, который сидел на глыбе льда. На снегу рядом с ним лежала потертая шапка. Седая до голубизны борода старца спускалась на сплетенные из ремешков, прохудившиеся чувяки, из одного торчал большой палец с загнутым ногтем. Густые, серебрившиеся под луной волосы спадали на высокий желтый лоб, мохнатые темные брови нависали над крупными задумчивыми глазами. За могучими широкими плечами были сложены огромные белые крылья. Луна освещала его сбоку, но тени на снег он не отбрасывал.

Язык у Озермеса онемел. Кто это мог быть? Если Дух гор, то почему на нем потертая черкеска и продранные чувяки? А если это старик-адыг, то откуда у него крылья и как он попал сюда? Однако кем бы тот ни был, мерещится он Озермесу или нет, поздороваться с ним, как со старшим, следовало первым.

— Салам-алейкум, достопочтенный тхамада, — преодолев свою немоту, пролепетал Озермес, — да пребудешь ты в добром здравии.

Старец смотрел на него, как смотрят сверху на ползущую по земле букашку.

— Прости меня, если не ошибаюсь, но кажется, я узнал тебя — ты Дух гор, — с трудом выговорил Озермес.

В неподвижных глазах старца мелькнули искор-



ки, и он с отвращением пробормотал низким, <sup>ПОХОЖИМ</sup> на отдаленное ворчанье грома, голосом:

— Челове-ек!

— Да, я человек, — ободрившись, сказал Озермес. — Ты, достопочтенный тхамата, тоже не сразу определил, кто перед тобой? Наверно, ты давно не видел людей.

Старец выпрямился, сонная задумчивость сошла с его лица, и глаза загорелись.

— Откуда ты взялся, человек? — пророкотал он.

Озермес заколебался, отвечать старцу или нет. Но независимо от того, видит ли он его во сне или наяву, не следовало упускать возможность поговорить с ним. Кто знает, представится ли еще раз такой случай, явится ли когда-нибудь ему Дух гор. В том, что это был Дух гор, Озермес уже не сомневался. Решившись, он сказал:

— Я скатился сверху, с вершины Ошхамахо, поднялся туда, чтобы увидеть Тха, но он мне не явился.

Огненные глаза старца вспыхнули так, что Озермеса опалило жаром.

— Ты хотел увидеть Тха? — с громовым хохотом спросил он, и со склона неподалеку от них с шумом скатилась лавина, и покрытая снегом земля дрогнула.

— Да, — подтвердил Озермес, — я хотел спросить у Тха, почему он так устроил жизнь людей...

— Жизнь людей? — прогремел Дух гор. — Вы живете, как земляные черви. Знаешь, за что я ненавижу вас? — В груди его словно ворочались жернова. Озермес невольно отступил на шаг.

— Знаю, достопочтенный тхамата. Ты восстал против Тха, потому что он не захотел дать людям свои знания, а они не поддержали тебя. Но люди помнят об этом, джегуако всегда рассказывали им о тебе.

Гнев Духа гор угас так же мгновенно, как и вспыхнул. Опершись локтями о колени, он задумчиво разглядывал Озермеса то загорающимися, то гаснущими глазами.

— Не думай, что люди не хотят знаний, — возобновил разговор Озермес. — Отец говорил мне, что некоторые стараются узнать столько же, сколько знает Тха и даже больше.



— Ты видел, что делает ворона, когда не может разломить клювом орех? — спросил Дух гор. — Она бросает его сверху на камни, и вместе со скорлупой разбивается и сердцевина. Таковы и вы, люди, стараясь докопаться до истины, вы ломаете и скорлупу и то, что внутри. А если бы люди поддержали меня, они получили бы знания цельными. Скажи, человек, а как теперь живут люди?

— Я и моя жена ушли от людей три зимы тому, — ответил Озермес, — люди убивали друг друга.

— Так вам и надо! — прогремел Дух гор. — Убивайте, убивайте, пока не опустеет земля. Жалкие черви!..

Он снова расхохотался и где-то опять ухнула, падая вниз, лавина. В голове у Озермеса прояснилось, и он подумал, что никогда не простит себе, если не спросит у Духа гор обо всем, что его сейчас интересует, а там будь что будет.

— Прости, тхамада, — сказал он, — что я беспокою тебя вопросами, но мы, наверно, больше не встретимся. Скажи, ты не думаешь когда-нибудь помириться с Тха?

— Помириться?! — вознегодовал Дух гор и махнул крылом. Озермеса сбило с ног и отбросило на пять или шесть прыжков. Он с трудом встал и снова приблизился к Духу гор.

— Не ушибся? — спросил тот. — Так вот, Тха не дождется, чтобы я склонился перед ним. Он ведь не изгонял меня. Я сам ушел от Тха и бросил ему вызов. Тогда он стал направлять ко мне своих посланцев, уговаривать меня вернуться и принять от него прощение. Однако я отвергал его просьбы, потому что был прав. А он считал себя непогрешимым. Мы оба упрямы... Но последние времена от него никто не прилетал, возможно, он даже забыл обо мне... Скажи, червячок, а ты не боишься меня?

— Нет, достопочтеный тхамада, я ни в чем не провинился перед тобой и отношусь к тебе с уважением. Можно мне попросить тебя?

Дух гор кивнул.

— Когда ты сердисься, земля начинает трястись,



скалы рушатся, деревья валяются, а реки выходят из берегов, ты не мог бы сдерживать свой гнев?

— Нет, — ворчливо объяснил Дух гор, — я таков, каков есть. — Он усмехнулся, и Озермес услышал, как где-то вдали зажурчал ручеек и засвистели дрозды. Потом глаза Духа гор стали сонными, и он протяжно зевнул в бороду.

— Ты развлек меня, червячок, иди, а то я могу обозлиться и лишить тебя души.

— О, подожди, достопочтенный тхамада! — возопил Озермес. — Я сказал еще не все. Ответь, будь добр, Тха, Аллах и христианский Бог — три владельца небес или это три имени одного?

— Тха один, — раздражаясь, прогремел Дух гор. — Ты мне надоел! Что еще у тебя?

— Не гневайся, прошу тебя. Но нельзя ли, раз Тха не снизошел до меня, чтобы ты вместо него ответил на другие мои вопросы?

Дух гор закричал, закинул руку за плечо, выдернул из крыла длинное перо, почесал кончиком спину между лопаток и воткнул перо обратно.

— Мне понравилось, что ты ушел от людей, — прогудел он, — поэтому, наверно, я столько времени терплю тебя, хотя ты и человек. Скажу тебе правду: не спрашивай ни о чем ни Тха, ни меня, оба мы слишком стары. Разве ты не заметил, что у меня прохудились черкеска и чувяки, даже крылья и те поистрепались. А теперь убирайся!

Дух гор надел папаху, охнув, распрямился и тяжело взмахнул крыльями. Взвились снежные вихри, Озермеса бросило навзничь, в глазах у него потемнело, и он услышал свист метели... Кто-то тут же затеребил его.

— Встань, тебя засыплет снегом, ты замерзнешь. — Озермес открыл глаза. Возле него никого не было. Луна скрылась. Над белым полем, завывая и бросая ему в лицо острые снежинки, носилась метель. И вместе со свистом ветра до него донесся далекий голос отца: — Встань, иди, иди к тем, кто ждет тебя, кому ты нужен... — Озермес, опершись на руки, поднялся и, стараясь прорваться сквозь вой метели, закричал: — Отец, где ты, отец? — Но никто на зов его



не отозвался. Озермес встал спиной к ветру, отыскал глазами сквозь снежную мглу вершину Ошха-махо, прикинул, куда ему идти, чтобы добраться до черных скал, надвинул на брови шапку, засунул под мышку руки и, втянув голову в плечи, пошел по дологому склону. Снежные вихри бешено, подобно бородачам, кидались на него со всех сторон, клевали в лицо и били крыльями. Высоко в небе хохотал Дух гор, надо быть, пожалевший, что разоткровенничался с человеком и отпустил его с миром. Если бы не голос отца, лежать бы Озермесу под снегом. Почудился ли ему Дух гор или нет, но из сказанного следовало, что колесо времени, казалось бы, вечно замерзшее в недоступной для человека глубине мироздания, все-таки вращается и для Тха, и для Духа гор, и они, подобно людям, старятся, только спустя бесчисленное количество земных лет и зим. Пораженный неожиданно залетевшей ему в голову мыслью, Озермес остановился и прикрыл рукой лицо от злых ударов ветра. Если Тха все-таки старится, значит он, как и любой человек, смертен и может прийти время, когда его не станет. Что же будет потом — народится новый могучий Тха или люди будут жить без него, каждый сам по себе — и человек, и Тха?

Наклонив голову, чтобы спрятать от ветра лицо, Озермес побрел дальше. Наверно, Духу гор надоело бушевать, хохот его затих, и метель стала удаляться. Дабы убедиться, что не спит, Озермес укусил себя за палец, ощутил боль и, воспрянув духом, осмотрелся. Если он не сбился с пути, слева должны показаться черные скалы. Там он переждет до рассвета и потом спустится вниз по своим следам. Когда он уходил, на лице Чебахан не было и тени тревоги. Она либо не давала воли своим чувствам, либо не беспокоилась за него. Неужто может быть так, чтобы отец из своего далекого далека видел и Чебахан, и Самыра, и Хабека? Встань, доносился сквозь вопли метели его голос, иди к тем, кто ждет тебя, кому ты нужен... Сколько в мире загадочного и непостижимого!

Ветер унесся куда-то в другие края. И немного времени спустя Озермес увидел впереди, по левую ру-



ку, черное кладбище. Подойдя к огромной спящей голове, он прислонился к камню спиной и подумал, что если бы Тха услышал его крик: — Тха, я здесь, на Ошхамахо! — и разгневался, быть бы и ему таким же черным камнем.

Ощувив голод, он доел остатки вяленого мяса, утолил жажду тремя горстями снега, попрыгал, чтобы согреться, сунул руки под мышки и, опустившись на корточки, стал дожидаться рассвета.

Прошло время, облачная степь, закрывшая от него ночью землю и нависшая теперь над головой, начала растекаться. Мудрые предки правы были, когда говорили, что ноги не должны обгонять разум. Если бы он отправился на Ошхамахо с утра, то успел бы подняться и спуститься засветло, не мерз бы ночью и не попал бы в метель. Однако тогда он, наверное, не встретился бы с Духом гор. Небо на восходящей стороне очистилось от облаков, позеленело, и от этого обе вершины Ошхамахо стали напоминать холмики, поросшие только народившейся нежной травкой. Озермес, посмотрев на них, вдруг усомнился — побывал ли он там и не приснились ли ему и Дух гор, и метель, и голос отца. Притронувшись рукой к своему воспаленному лицу и кровоточащим губам, он покачал головой. Сомневаться можно во всем, так уж устроен человек, в голове у которого не мох, а разум, но и сомнениям должен быть предел. На вершину Ошхамахо он все-таки взошел.

— Ай, аферим, — похвалил он себя и устало усмехнулся своему хвастовству. Не победа над своим телом была важна, а то, еще не осознанное до конца знание, которое он, побывав на вершине, кажется, добыл.

Из-за края земли выглянуло заспанное, еще не умывшееся солнце. Озермес пошел по своим вчерашним, петлявшим по снегу, следам. Спускаться с горы всегда труднее, чем подниматься, и он шел, ступая чутко, как косуля, бросая камни в таившие опасность обрывы, обрушивая иногда впереди себя лавины и так дошел до ледника. На льду следы его терялись, но он помнил, в каких местах переходил через расселины и благополучно добрался до каменистых осыпей. Здесь



надо было идти, затаив дыхание, ибо камни могли сорваться даже от случайного кашля. А ведь вчера, проходя мимо осыпей, он куда меньше остерегался камнепада. Посмеиваясь над собой и зорко поглядывая на камни, Озермес подумал, что так, наверно, бывает и с другими людьми, оставив за спиной опасность, они, оглядываясь назад, начинают думать о том, что с ними могло бы стрястись. Однако такого чувства у него не возникло ни после гибели аула, ни после того как он выбрался из-под лавины. Наверно, надо было оказаться на вершине Ошхамахо, ощутить свое одиночество в холодном, равнодушном ко всему земному, звездном мире, чтобы почувствовать всю ценность и неповторимость жизни человека...





Ираклий **ГОЦИРИДЗЕ**

## **ЧАСТНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, ИЛИ Я ЗАГЛЯДЫВАЮ В СЕЙФЫ ВЛАСТИ**

**ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ВЛАСТИ — К ОТВЕТУ**

Вскоре стало возможно ознакомить общественность с официальным документом о правовом аспекте обстоятельств, связанных с событиями 9 апреля. После обсуждения вопроса на Первом съезде народных депутатов СССР комиссия под председательством А. Собчака обратилась с просьбой к средствам массовой информации республики, в том числе газете «Ленинское знамя», до окончания расследования воздержаться от опубликования этих материалов. Однако окружная военная газета игнорировала это предложение и продолжала публиковать клеветнические и дезинформирующие общественность материалы.

Ранее я и профессор Л. Алексидзе обратились к Генеральному прокурору СССР А. Сухареву с требованием о привлечении виновных в трагедии 9 апреля к уголовной ответственности. Кстати, копию этого официального документа я лично вручил заместителю Главного военного прокурора генерал-майору В. Васильеву, которому были предоставлены для ра-

---

Продолжение. Начало см. № 5.



боты следственной группы комнаты в штабе Закавказского военного округа.

Владимир Ильич обещал объективно во всем разобраться, но свое обещание этот генерал не выполнил — ни один пункт из нашего обвинения его следственной группой не был изучен.

Вот этот документ:

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР тов. СУХАРЕВУ  
А. Я.

Копия: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИССИИ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С СОБЫТИЯМИ В ТБИЛИСИ 9 АПРЕЛЯ 1989 г. тов. СОБЧАКУ А. А.

Трагические события, происшедшие в г. Тбилиси 9 апреля 1989 года, потрясли не только грузинский народ, но и весь Советский Союз, мировую общественность.

Для всестороннего изучения обстоятельств происшедшего созданы специальные комиссии народных депутатов СССР и Президиума Верховного Совета Грузинской ССР. Кроме того, по требованию общественности, одному из нас — журналисту — членом Политбюро ЦК КПСС, министром иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе и кандидатом в члены Политбюро, секретарем ЦК КПСС Г. Разумовским было предоставлено право независимого журналистского расследования причин этого явления.

Официальные комиссии, перед которыми поставлены весьма обширные задачи, продолжают работу, журналистское же расследование, имеющее целью выяснение правового аспекта происходящего, по его основному направлению уже закончено.

На основании данных, полученных от командующего войсками Закавказского военного округа, генерал-полковника И. Родионова, первого заместителя министра обороны Советского Союза, генерала армии К. Кочетова, заместителя министра внутренних дел СССР генерал-лейтенанта И. Шилова, министра внутренних дел Грузинской ССР генерал-майора Ш. Горгодзе, прокурора республики Б. Размадзе, должностных лиц партийных, советских, правоохранительных органов, а также в результате изучения ряда открытых и секретных документов и анализа добытых лично нами многочисленных фактов, у нас сформировался вывод, который состоит в следующем:

За трагические последствия «разгона» несанкционированной демонстрации в г. Тбилиси 9 апреля с. г., выразившиеся



в гибели 20 и ранении сотен человек, в том числе несовершеннолетних, стариков и женщин, в первую очередь несут персональную ответственность вышеупомянутые генерал-полковник И. Родионов и генерал армии К. Кочетов, которые подготовили и сами же провели военно-карательную акцию — мы так квалифицировали эту «операцию» против безоружных советских людей, вышедших на несанкционированный митинг. Эти лица совершили следующие уголовные деяния:

1. По заявлению генерал-полковника И. Родионова на Съезде народных депутатов СССР, действия вооруженных сил, которыми он командовал и которые состояли из регулярных частей Советской Армии (в частности, полк, выведенный из Афганистана и затем переброшенный в Тбилиси) и подразделений внутренних войск МВД СССР, были вызваны необходимостью пресечь попытку захвата Дома правительства, зданий ЦК КП, Совета Министров, Верховного Совета Грузинской ССР, телестудии, железнодорожного вокзала, других важнейших государственных объектов в городе, а также свержения Советской власти в республике. Однако фактов, подтверждающих наличие у демонстрантов оружия, без которого осуществление таких целей невозможно, ни в распоряжении штаба ЗакВО, ни в распоряжении МВД СССР, ни у каких бы то ни было компетентных служб в республике и в центре не было и нет.

Следовательно, попытка генерал-полковника И. Родионова оправдать необходимость применения вооруженных сил против безоружных демонстрантов лишена каких-либо оснований и имеет целью «оправдать» незаконное совместное решение Министерства обороны и Министерства внутренних дел СССР о проведении жесточайшей вооруженной антиконституционной акции против демонстрантов, действовавших в рамках Конституции СССР, хотя и нарушивших общественный порядок в городе. Антиконституционность этой акции, включая объявление комендантского часа в городе, заключается в том, что эта мера фактически явилась введением чрезвычайного положения в столице союзной республики, что допустимо только решением Президиума Верховного Совета СССР по согласованию с Президиумом Верховного Совета Грузинской ССР (Конституция СССР, статья 119, пункт 14). Такого решения, как известно, не было.

Генерал-полковник И. Родионов ссылается на решение



бюро ЦК КП Грузии, в котором выражена просьба к руководству ЗакВО принять участие, совместно с внутренними войсками республики, в освобождении площади перед Домом правительства от демонстрантов. Но командующий округом не мог не знать, что просьба партийного органа республики не является основанием для ввода войсковых подразделений против гражданского населения, тем более, что охрана общественного порядка не является функцией армии. Значит, такой приказ ему был дан специально прибывшим в Тбилиси еще 6 апреля первым заместителем министра обороны СССР генералом армии К. Кочетовым, который тем самым грубо нарушил упомянутую выше 119-ю статью Конституции Советского государства.

Таким образом, налицо превышение власти первым заместителем министра обороны СССР генералом армии К. Кочетовым и слепое выполнение антиконституционного приказа начальства генерал-полковником И. Родионовым, что привело к гибели и ранению многих людей.

2. На заседании бюро ЦК КП Грузии и Совета обороны республики, на которых обсуждались вопросы освобождения площади перед Домом правительства от митингующих и голодающих людей, генерал-полковник И. Родионов и генерал армии К. Кочетов заверили руководство республики, что операция будет проведена без человеческих жертв и что военнослужащими будут применены только резиновые палки и щиты, в крайнем случае — водяные струи из противопожарных машин.

В действительности, руководители операции в лице И. Родионова и К. Кочетова допустили использование против безоружных демонстрантов химических средств с опасной для жизни токсичностью, остро заточенных саперных лопат, огнестрельного оружия, бронетранспортеров и танков. Тем самым они грубейшим образом нарушили действующий в нашем государстве Закон об охране общественного порядка, который категорически запрещает использование смертоносного оружия любого вида на многолюдных улицах, площадях и в других общественных местах, когда в результате этого могут пострадать невинные люди, в особенности женщины, несовершеннолетние и граждане, сопровождающие несовершеннолетних.

Таким образом, перед нами преступное самоуправство, умышленно совершенное генерал-полковником И. Родионовым:



и генералом армии К. Кочетовым, в результате чего от воздействия химических средств, применения остро заточенных саперных лопат, огнестрельного оружия погибло и ранено много мирных людей.

3. Генерал-полковник И. Родионов и генерал армии К. Кочетов, которые, кстати, лично наблюдали за ходом «разгона» демонстрантов из командирской автомашины, персонально ответственны за избиение и ранение военнослужащими безоружных работников милиции (МВД Грузинской ССР), несущих службу по охране порядка и пытавшихся спасти несовершеннолетних и других участников демонстрации, получивших тяжелые увечья.

4. Генерал-полковник И. Родионов несет персональную ответственность за убийство и ранение гражданских лиц военнослужащими, совершенные ими сразу же после объявления комендантского часа в городе. Дело в том, что И. Родионов явился в Грузинский телецентр за полчаса до объявления о введении комендантского часа, что было передано в эфир всего лишь за 4 минуты до его начала. В результате этого большинство жителей, не получив заблаговременно столь необходимую информацию, невольно оказались нарушителями условий чрезвычайного положения. Между тем, программа «Время» передала о введении в Тбилиси комендантского часа в 22 часа 15 минут по тбилисскому времени, а министр обороны СССР Д. Язов заявил на встрече с кинематографистами в Москве, что ему стало известно о введении комендантского часа в Тбилиси в 11 часов 9 апреля, т. е. за 12 часов до его фактического объявления.

5. Командующий войсками ЗакВО персонально виновен в распространении преступной дезинформации окружной газетой «Ленинское знамя» с целью скрыть правду о трагедии 9 апреля. На официальной встрече общественности г. Тбилиси с руководителями редакции и политотдела округа установлено, что к такому действию газету вынудил лично генерал-полковник И. Родионов. Кстати, при даче такого приказа Родионовым указанным лицам, один из нас — журналист — лично присутствовал в кабинете командующего в штабе ЗакВО 13 апреля с. г.

6. С трибуны съезда народных депутатов СССР генерал-полковник И. Родионов назвал публикацию газеты «Молодежь Грузии» — интервью журналиста по поводу преступных деяний И. Родионова — провокационной, при этом он не опроверг ни одного факта в этой публикации. Следовательно, это



заявление командующего мы квалифицируем как умышленное оскорбление газеты и автора, за что И. Родионов также должен нести соответствующее наказание.

7. Своими антиконституционными действиями генерал-полковник И. Родионов и генерал армии К. Кочетов грубо нарушили положение Пакта гражданских и политических прав человека, под которым стоит подпись СССР. Пакт провозглашает: «Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека... Никто не может быть произвольно лишен жизни» (статья 6); «Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижительному его достоинства обращению и наказанию» (статья 7); от этих положений нельзя отступить даже «во время чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь нации находится под угрозой и о наличии которого официально объявляется» (статья 4).

Таким образом, действия генерал-полковника И. Родионова и генерала армии К. Кочетова, как официальных лиц, не только наносят удар по политике перестройки и демократизации жизни советского общества, но и подрывают внешнеполитический авторитет Советского Союза, который взял на себя обязанности не допускать на своей территории подобных действий.

Приведенные выше факты дают нам основание считать, что генерал-полковник И. Родионов и генерал армии К. Кочетов совершили преступления, за которые они должны быть привлечены к уголовной ответственности по статье 278, пункт «Б» Уголовного кодекса Грузинской ССР (лишение свободы от 3 до 10 лет).

Просьба принять это письмо в качестве нашего официального требования привлечь генерал-полковника И. Родионова и генерала армии К. Кочетова к уголовной ответственности.

**Ираклий Гоциридзе,**

журналист

**Леван Алексидзе,**

доктор юридических наук

г. Тбилиси, июнь, 1989 г.

P. S. При необходимости на суде нами будет представлена магнитофонная запись беседы, которая состоялась между И. Гоциридзе и генерал-полковником И. Родионовым в кабинете командующего ЗакВО 13 апреля 1989 года.





Сразу же по возвращении моем в Тбилиси, ко мне нагрянул редактор газеты «Народное образование» профессор Аполлон Силагадзе.

— Только у нас, только в нашей газете надо опубликовать привезенный вами из Москвы материал, — «потребовал» он. — Скажите, разве я не прав? Когда приехать корреспонденту?

Я согласился с доводами редактора. «Народное образование» — единственная республиканская газета, выходящая на двух языках — грузинском и русском, это давало возможность одновременно распространить «сногшибательные новости», по словам Силагадзе, как в Грузии, так и среди русскоязычного населения всей страны. Центральные средства массовой информации ничего не писали о событиях 9 апреля и люди в стране питались одними слухами.

Спустя два дня газета «Народное образование» начала публиковать цикл интервью со мной, которые действительно вызвали небывалый интерес. Причина понятна: читателям впервые предлагали неофициальный рассказ о встречах с представителями высшего эшелона власти.

Этот момент ясно ощущается уже в первом газетном материале, начальный отрывок которого предлагаю ниже.

Корр.: — Ираклий Прокофьевич, не сочтите за преувеличение, но вашего возвращения из Москвы наша общественность ждала с большим интересом. Нам известно, что там вы встречались с членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, секретарем ЦК Виктором Михайловичем Чебриковым и кандидатом в члены Политбюро, министром обороны Советского Союза Дмитрием Тимофеевичем Язовым. Вот мы и пришли, чтобы выслушать вас и передать ваш рассказ читателю. Но хотелось бы сначала спросить: довольны ли вы этими встречами?

И. Г.: — Чрезвычайно доволен. Во-первых, полностью прояснилось то, что до сих пор скрывалось, а именно, кто дал высочайший приказ на ввод в Тбилиси дополнительных вооруженных сил для пресечения несанкционированной демонстрации 9 апреля и кто персонально назначил генерал-полковника Родионова руководителем этой акции, а также комендантом города. Кроме того, эти встречи в объективном обобщении со всей ясностью проявили два важных момента: первый — Грузия, видимо, как и все остальные союзные республи-



ки СССР, и фактически и в правовом отношении, совершенно незащищена, ее судьба не в руках коренного народа, а в руках нескольких должностных лиц в Тбилиси и Москве. Второй — в высших эшелонах власти, безусловно, идет интенсивная эволюция концепций, идут реальные перемены, в том числе, в аспекте демократизации руководства; об этом ясно свидетельствует не только то, что мне, представителю грузинской общественности, притом не штатному, а независимому журналисту, была предоставлена возможность заглянуть в сейфы высших инстанций; об этом прежде всего свидетельствует все то, что мне там сказали, показали и в чем признались.

Корр.: — Это настолько важные выводы, что необходимо нам самим к ним прийти. Начнем с этого: как вам удалось встретиться с товарищем Чебриковым?

И. Г.: — В июле я послал ему короткое письмо, написал: журналистское расследование, которое я веду вот уже четыре месяца, привело меня к необходимости встретиться с вами и задать вам несколько вопросов, связанных с событиями 9 апреля. Через две недели мне позвонили из Москвы и сообщили, что могу приехать в любое время, товарищ Чебриков готов принять меня и ответить на мои вопросы.

Корр.: — Почему вы решили встретиться именно с ним, а не с кем-либо другим?

И. Г.: — Я уже сказал, что мои поиски привели меня именно к нему. Однако необходимо было, чтобы Чебриков лично подтвердил правильность моих догадок.

Дело в том, что нас с самого начала уверяли, будто в высшем руководстве ничего не знали о решении применить военную силу против несанкционированной демонстрации. Приведу такой факт.

В последних числах апреля в Москве состоялась пресс-конференция для иностранных и советских журналистов. На вопрос корреспондента газеты «Нью-Йорк таймс», кто в высшем руководстве воздействовал на принятие решения о введении в Тбилиси вооруженных сил для разгона мирной демонстрации, член Политбюро, секретарь ЦК КПСС В. Медведев ответил: «Разрешение о применении войск было принято на месте грузинскими республиканскими властями. О том, что произошло в Тбилиси в ночь с 8 на 9 апреля, т. е. о применении военной силы для очистки площади перед Домом правительства, в Москве узнали после того, как это было сделано».



Этот ответ и подобные ему заявления, сделанные другими высокопоставленными лицами, у многих в мире, а в Советском Союзе — почти у всех, создали мнение, что такое решение было принято без участия центральных инстанций, на уровне руководства Грузинской ССР, т. е. все было решено и сделано Д. Патиашвили и командующим войсками ЗакВО генерал-полковником И. Родионовым. И вот после таких утверждений В. Чебриков соглашается встретиться со мной и ответить на вопросы! Сам по себе этот факт был признанием того, что в высших инстанциях были в курсе дела.

Короче, я незамедлительно вылетел в Москву. Моей первой заботой был вопрос о стенографической либо технической записи беседы — каким образом записать ее — ведь без этого важная публикация может вызвать вопросы! Помощник секретаря ЦК КПСС И. Мищенко встретил меня «холодным душем» — у Виктора Михайловича по минутам рассчитан регламент дня и, по всей вероятности, беседа наша будет весьма короткой.

Однако помощник ошибся. Начав беседу в 12 часов, мы закончили ее через 3 часа 14 минут!

На встрече присутствовали заместитель заведующего государственно-правовым отделом ЦК КПСС В. Михайлов и помощник секретаря ЦК КПСС И. Мищенко.

Поблагодарив Чебрикова за предоставленную возможность встречи, я выразил сожаление, что мы с помощником не успели урегулировать вопрос записи беседы.

— Не беспокойтесь, — последовал любезный ответ, — я буду говорить медленно, и если понадобится, повторю.

Эти слова секретаря ЦК КПСС направили беседу в нужное русло откровенности и искренности. Лично я этому моменту придаю решающее значение во взаимоотношениях людей. Официальность ни что иное, как маска, за которой скрыто лицо личности. Искренность, откровенность — фундамент взаимопонимания!

Первый мой вопрос, как мне показалось, оказался неожиданным и нелегким для ответа.

— По моему убеждению, — сказал я, — вы являетесь тем лицом, кто отдал приказ о введении вооруженных сил Министерства обороны СССР и Министерства внутренних дел СССР в Тбилиси с целью разгона несанкционированной, но мирной демонстрации. Не вызывает сомнения, что такое распоряжение является противоконституционным действием. Что бы вы ответили на это?



Чебриков задумался и после небольшой паузы ответил:

— Коль скоро вопрос поставлен так прямо, я считаю себя обязанным ответить так же откровенно. 9 апреля <sup>1953</sup> — это ошибка всех: и неформалов, и руководства республики, и наша, ЦК. Если б каждый из нас проявил больше терпимости, более бы вник в суть явлений, то не было бы столь тяжких последствий. Что касается распоряжения, то я его не давал, хотя бы потому, что как партийное должностное лицо не имел на это право. Дело было так: ваш первый секретарь ЦК Патиашвили несколько раз звонил, говорил с товарищами, потом связался со мной. Сказал, что положение тяжелое. Я сказал, чтоб он прислал официальное письмо. 7 апреля он прислал шифротелеграмму. Я разослал эту шифротелеграмму по списку. В нем были и министр Д. Язов, и министр В. Бакатин.

— Что значит «по списку», — он вообще неизменен, или?..

— В него входят члены и кандидаты в члены Политбюро, дополнительно вносят тех, кого вопрос касается непосредственно.

— В той шифротелеграмме, как мне известно, Патиашвили просил разрешения применить военную силу против демонстрантов. Поэтому полученную от вас шифрограмму оба министра приняли за распоряжение и направили свои вооруженные подразделения в Тбилиси. И вот результат — произошла трагедия.

— Вы подозреваете, что кто-то желал смерти людей?

— Ни в коем случае! Но мне хочется задать такой вопрос: в последние годы почти во всех регионах Советского Союза и в Москве проходили выступления, демонстрации, забастовки, в том числе и несанкционированные, митингуют даже молодчики с фашистскими свастиками, однако нигде не разгоняли демонстрацию с такой жестокостью, как это было в Тбилиси, где убили женщин, подростков, пожилых. Почему же такое произошло именно в столице Грузии?

— Это вина военных! — был категорический ответ, — при установлении порядка не должны были погибнуть люди.

Здесь я, по возможности, подробно рассказал Чебрикову о жестоких и противозаконных действиях военнослужащих, в первую очередь, генерал-полковника Родионова и первого заместителя министра обороны, генерала армии Кочетова; о том, что расследование возбужденного против них уголовного дела преступно затягивается, несмотря на то, что в «операции» погибли мирные люди; сказал, что не привлекается к ответст-



венности капитан Лохин — убийца юноши Г. Карселадзе; говоря о других деталях, коснулся «деятельности» окружной газеты «Ленинское знамя», которую Родионов и другие армейские должностные лица используют для сокрытия собственных злодеяний, создания конфронтации между проживающими в Тбилиси грузинами и русскими, армией и населением.

— На этот счет у меня нет никакой информации, — сказал член Политбюро и тут же распорядился ускорить расследование дела военных лиц, а также изучить деятельность газеты «Ленинское знамя». Конечно, никакого расследования за этим не последовало.

Чебриков попытался перевести разговор на другую тему — о межнациональных отношениях. У меня создалось впечатление, что он заранее подготовился к этому. Начал с признания, что очень любит Грузию.

— Мои добрые отношения с Грузией определило и то, что от вашей республики я трижды избирался депутатом Верховного Совета СССР. Помню, в 1972 году меня впервые выдвинули кандидатом в депутаты от Очамчирского района, колхоза «Апсны Капш», где председателем был мой друг Илларион Шакая. Я сблизился с абхазским народом, бывал в гостях в семьях, за столом не раз поднимал тосты. Село Лыхны — одно из любимейших для меня, я сблизился с председателем Лыхнинского сельсовета Виктором Хванба, с которым приходилось сидеть рядом на сессиях Верховного Совета СССР. Одним словом, с абхазами меня связывают давние дружеские взаимоотношения, и это обостряет мою боль по поводу возникшей сегодня между ними и грузинами кровавой конфронтации.

— В чем же, по-вашему, главная причина? — спросил я.

— Прежде всего — в нарушении ленинской национальной политики! — был ответ.

Поскольку этот постулат сегодня для многих звучит абстрактно, я попытался более конкретно высказать свое личное мнение.

— Есть люди, и я принадлежу к их числу, которые уверены, что в основе большинства межнациональных конфронтаций, в частности, и происходящих сейчас в Абхазии событий, лежат экономические проблемы.

Чебриков согласился, что экономические проблемы, конечно, являются одними из важнейших в обострении межнациональных отношений.

— Но что в этом вопросе разделяет Грузию и Абхазию,



ведь они составные части одной советской социалистической республики? Почему руководящие органы республики не могут регулировать эту проблему?

— Как я знаю и догадываюсь, — сказал я, — на взаимоотношения этих двух народов негативно влияют, мягко выражаясь, чрезмерно тесные прямые связи с Абхазской Автономной Республикой некоторых представителей высших кругов Москвы. В связи с этим хочу дать вам такую информацию: почти тридцать лет в глубины «теневого» экономики Абхазии не заглядывали ни союзная, ни грузинская прокуратуры. Почему? Потому, что руководство всегда считало такие меры «преждевременными».

Я тут привел содержание части интервью, которое я дал «Народному образованию».

В беседе с Чебриковым был затронут довольно широкий круг актуальных вопросов. Когда, например, мы заговорили о межнациональных отношениях в Советском Союзе, я задал ему такой вопрос:

— Почему в Российской империи эти взаимоотношения не носили столь резко конфронтационный характер, как они стали проявляться в Советском Союзе после Октябрьской революции?

Чебриков мне не ответил. Может быть, ему нечего было сказать? Во всяком случае, на этот вполне резонный вопрос пока еще не ответило само советское обществоведение. Причина видится мне в «своеобразной» советской коммунистической идеологии: все факты — и из прошлого, и в настоящем — рассматривать в свете пригодности правящей в данный период инстанции. Один из основателей советской историографии М. Покровский утверждал: история — это политика, обращенная к прошлому. В силу этой концепции советские историки до сегодняшнего дня обязаны рассматривать прошлое своего государства через «современные» очки, не позволяющие видеть то, что не выгодно видеть тем, кому это не выгодно. «Концепция Покровского» льет воду на мельницу сторонников, которые всеми правдами и неправдами стараются сохранить нынешнюю форму «единства братских советских республик».

Одним из них является член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев, руководитель весьма влиятельный и имеющий многих сторонников в государстве. Если Чебриков не имел ответа на мой вопрос — чем объяснить, что в последнее время в стране расширились межнациональные конфликты, тогда как такого не наблюдалось до революции? — Е. Лига-



чев не уходит от ответа. Недавно в интервью Центральному телевидению он вновь заявил:

— Нерушимая дружба советских народов — великое завоевание Октябрьской революции, и КПСС всегда будет бороться за ее укрепление, за единство этих народов.

Что можно сказать по этому поводу?

«Миф о единстве менее всего отражает реальность» — пишет прогрессивный русский публицист Виталий Третьяков и с ним нельзя не согласиться. Но тут дело не только в констатации действительного факта. Позиция Лигачева, говоря словами того же автора, направлена на сохранение старой системы — «Союз должен быть един не только по территории, но и по психологии, идеологии, экономике и всему остальному. Россия в центре и географически, и политически».

Между тем дилижанс истории мчится в том направлении, какое ему предопределено естественным развитием цивилизации. И изменить это направление разгоряченных коней никто не в силах заставить.

После этой нашей беседы В. Чебрикова более чем скромно проводили на ленцию.

Мне теперь предстояла другая, не менее интересная встреча.

## ВОЕННЫЙ МИНИСТР ИЗВИНЯЕТСЯ

Министру обороны СССР Дмитрию Тимофеевичу Язову я позвонил по правительственному телефону из кабинета Постоянного представителя Совета Министров Грузинской ССР при Совете Министров СССР Нодара Медзмариашвили. Услышав в трубке гулкий голос, я был уверен, что со мной говорит помощник министра.

— Здравствуйте, — сказал я, — моя фамилия Гоциридзе. Я журналист из Грузии и хотел бы...

— Ираклий Прокофьевич? — перебили меня. — Вы могли бы сейчас приехать ко мне?

Я догадался, что говорю с министром.

— Могу, конечно, — не раздумывая, ответил я, хотя на этот час у меня были другие планы.

— Тогда приезжайте. Адрес, думаю, знаете.

Медзмариашвили предоставил мне свою машину.

Отчего министр так любезен со мной? Будто мы давнишние знакомые: «Ираклий Прокофьевич»!..



Сомнений не было: с ним обо мне говорил Чебриков!

Вот и Арбатская площадь. Белая громада здания Министерства обороны. Впечатляющий своим размером подъезд № 1. Вхожу. Никакого пропускного бюро. В глубине — тумба и два офицера.

— Моя фамилия...

— Прошу удостоверение, — любезно перебивает меня один из них.

Показываю. Офицер проводит меня к лифту, нажимает кнопку.

— На пятом этаже вас встретят.

Действительно, выйдя из лифта, лицом к лицу сталкиваюсь с офицером.

— Вам налево до того солдата, — указывает он на конец длинного коридора.

Дохожу «до того солдата». Этот без слов указывает мне рукой, куда идти дальше.

Еще один солдат: «Вам до угла».

Таким образом меня «довели» до приемной министра. В просторном кабинете — большие письменные столы, за которыми сидят адъютанты министра. Один из них — статный полковник — с улыбкой здоровается со мной и тут же открывает массивную дверь:

— Прошу.

В глубине огромного кабинета за широченным столом сидит крупный мужчина в генеральской форме. Он быстро встает и идет мне навстречу. Это генерал армии Дмитрий Язов, министр обороны Советского Союза. На его лице, знакомом по фотографиям и телеэкранам, приветливая улыбка.

— Рад познакомиться с вами, — говорит он, пожимая мне руку. — Прошу. Вот здесь. А я — тут.

Садимся.

— В вашем кабинете вертолетам летать, — шутливо говорю я, оглядывая гигантский кабинет, с потолка которого свисают хрустальные люстры.

Генерал довольно улыбается.

— Благодарю вас, что нашли время и приняли меня, — искренне говорю я.

— Я хотел бы обрадовать вас — мы сместили Родионова. Это была неожиданная для меня информация.

— Когда это произошло?



— Вчера новый командующий отбыл в Тбилиси. Молодой генерал-полковник Патрикеев. Весьма перспективный военачальник.

«Молодой. Перспективный!» — какой смысл вкладывает военный министр в эти слова?..

— Куда перевели Родионова?

— Пока он в числе безработных, — ответил министр.

— Я уверен, что ему нельзя доверить ответственную должность. Он никудышный генерал: при выполнении операции в Тбилиси погубил женщин.

— Какая это была операция... — усмехается министр. — Командующим мы его, конечно, не назначим больше, скорее, используем где-нибудь здесь.

— Но это может произойти только после окончания следствия и в случае его оправдания, — говорю я. — Мы таким образом вопрос о привлечении Родионова к уголовной ответственности по статье 278 пункт 6 Уголовного кодекса Грузинской ССР, которая предусматривает лишение свободы до 10 лет.

— Да, следствие должно закончиться, — как-то вяло согласился со мной министр.

Что хотелось бы выделить из двухчасовой беседы с министром? Прежде всего его слова:

— Комендантом города Тбилиси и руководителем операции по наведению порядка на проспекте Руставели Родионова назначил я. Причем это распоряжение сделал по телефону, что, признаю, было неправильным.

— Значит, Родионов сказал неправду, заявляя, что сам себя назначил на эти, если так можно назвать, временные должности?

— Ну как он мог сам?! — будто даже удивился и обиделся министр. — Я ему сказал: назначаю, действуй по своему усмотрению.

Тут я должен вспомнить один весьма значительный факт. Спустя несколько месяцев после моей встречи с министром Язовым журнал «Огонек» опубликовал пространное интервью Анатолия Собчака, председателя Всесоюзной депутатской комиссии по расследованию обстоятельств трагедии 9 апреля. Его комиссия, как известно, провела огромную полезную работу по установлению правды. Но вот что заявил в этом интервью А. Собчак:

«Еще 6 и 7 апреля, когда руководители республики



настаивали на введении комендантского часа, он (генерал Родинон — И. Г.) говорил: «Нет!», считал — не дело военных, надо решить мирным политическим путем... Но он <sup>36.1353.20</sup> <sup>018-11181339</sup> противился до тех пор, пока бюро ЦК Компартии Грузии, а затем парт-актив республики, не приняли решения о разгоне митинга. Лишь тогда Родинон взял на себя командование и осуществил эту «операцию». И далее: «Когда... бюро ЦК Компартии Грузии приняло решение применить силу, разогнать митинг, генерал Родинон, вместо того, чтобы отказаться от руководства этой операцией, принял на себя командование».

Это утверждение председателя депутатской комиссии, как и некоторые другие его выводы, о которых я ниже скажу, противоречит истине — Родинон никак не мог самолично назначить себя руководителем разгона мирной демонстрации — в нашем государстве проявление инициативы такого масштаба чревато большими неприятностями. К тому же как объяснить, что председатель столь авторитетной депутатской комиссии «не знает», что бюро ЦК КП Грузии вправе распоряжаться войсками?

Между прочим, я не знаю под влиянием каких сил, но то же самое утверждала комиссия Президиума Верховного Совета Грузинской ССР, возглавляемая профессором-юристом Т. Шавгулидзе. Лишь после моей встречи с министром Д. Язовым эта комиссия была вынуждена заявить, что Родинон был назначен руководителем разгона демонстрации по распоряжению сверху, а не по решению бюро ЦК КП Грузии, как она сообщала раньше.

Однако более важным во встрече с министром было другое.

По распоряжению министра принесли и положили на стол передо мной две красные папки. В одной была директива (возможно, копия), изданная 7 апреля начальником Генерального штаба генералом армии М. Моисеевым о переброске дополнительных вооруженных формирований в Тбилиси в распоряжение командующего ЗаВО Родионова.

В другой папке лежали шифротелеграммы, отправленные Д. Патиашвили в ЦК КПСС.

Понятно, что эти папки мне были показаны с определенной целью: можете убедиться, силовая акция в Тбилиси осуществлена не по инициативе военных, мы лишь исполнители указаний сверху! Но так ли это в действительности? Обратимся к фактам.



8 апреля, накануне трагедии, из Тбилиси по каналу контрразведки штаба Закавказского военного округа в Министерство обороны пошло донесение за подписью генерала армии Кочетова и генерал-полковника Родионова. В нем, в частности, сообщалось: «В Тбилиси происходят массовые митинги с участием 10—12 тысяч человек, это в основном молодежь и интеллигенция... Объявлено, что будет бастовать 80 процентов населения... Распространяются антирусские лозунги... По всей вероятности, пик волнений предусмотрен на 14 апреля. Если не будут приняты решительные меры к лидерам националистических обществ, произойдет отслоение рабочего класса : противоположный стан... Предлагаем привести в боевую готовность военные подразделения... Необходимо блокировать площадь перед Домом правительства и близрасположенные улицы...»

Входят ли в компетенцию армии «полицейские меры», которые предлагались армейскими генералами Кочетовым и Родионовым? Разрабатывая в тайне от постороннего глаза мероприятия для «наведения общественного порядка» в республике, Родионов в то же время заявлял с трибуны: «Это не дело армии!»

Однако пойдем дальше.

В Главной военной прокуратуре в одной из папок «по Тбилисскому делу» — всего их около 200 — подшиты т. н. справки, посылаемые в МО СССР еще с 1987 года старшим офицером разведки штаба ЗакВО. В них содержатся не сведения военного характера, а донесения о лидерах неформальных организаций Грузии, их поступках, делах, высказываниях и т. д.

Бинокль внимания в руках военных никогда не являлся выражением простой любознательности.

9 марта 1956 года, в пору хрущевской «оттепели» была расстреляна в Тбилиси мирная демонстрация — в саду на набережной и на том же проспекте Руставели. По людям, а большинство их составляла учащаяся молодежь, военнослужащие вели огонь из винтовок и автоматов, их теснили грохочущие танки. Мы до сих пор не знаем точное число погибших. Но самое главное — неизвестна политическая сторона ужасной карательной акции: по чьему распоряжению военные расстреляли людей. Правительство республики открещивалось от этого злодеяния. Тогда уместен вопрос: войска действовали по своему усмотрению?

14 апреля 1978 года в Тбилиси проходили митинги с тре-



пункт о  
34135340  
3082010133

бованием внести в брежневскую Конституцию СССР пункт о придании грузинскому языку статуса государственного. В город вошли войска и танки.

Эта акция оказалась неожиданной даже для первого секретаря ЦК КП Грузии Э. А. Шеварднадзе. Тогдашний командующий округом на вопрос, по какому праву и чьему распоряжению ввели войска, был вынужден признать:

— Мы, военные, действовали в соответствии с установленным порядком.

Десять лет спустя эти зловещие события повторились.

28 ноября 1988 года около восьми часов вечера в РОВД Глданского района г. Тбилиси пришли двое военных: полковник и майор. В отсутствие начальника милиции гостей принял его заместитель. Офицеры попросили плотно закрыть дверь и в доказательство серьезности предстоящего разговора предъявили удостоверения личности — фамилия полковника была Мегрелишвили, майора — Бережной.

— Сегодня ночью, — сообщили они, — в Тбилиси войдут войсковые части. В Глданском районе будет размещено до тысячи военных со своей техникой, поэтому мы должны осмотреть места будущей дислокации этих подразделений, которые уже нанесены на планшете. Кроме того, требуется помещение для фильтрации тех, кто окажет сопротивление. И еще: в районе должны быть изъяты оружие, взрывчатые и химические вещества, возможно, имеющиеся на предприятиях и в учебных заведениях.

Далеко за полночь радисту РОВД удалось услышать позывные неизвестной радиостанции: «Говорит 251!.. Говорит 251!.. Прогреть моторы! Прогреть моторы!.. Вазнани, выехали две машины... Следовать за одной из них... Говорит 251!..

Смысл этих радиопереговоров стал понятен после появления танков на восточной окраине города.

По чьему распоряжению и с какой целью вошла в Тбилиси боевая техника? Неожиданная акция повергла в изумление даже заместителя председателя КГБ республики генерала Н. Майсурадзе. Он, не медля ни минуты, связался с Д. Патиашвили, находившимся в Москве на сессии Верховного Совета СССР, и спросил, не с его ли согласия проводится акция. Патиашвили не знал о вошедших танках, он тут же связался с генерал-полковником Родионовым, также находившимся на сессии, и потребовал разъяснения. Родионов успокоил первого секретаря ЦК и объяснил случившееся как курьезное



происшествие — мол, возвращаясь с учения, танки «заблудились» и вместо пункта постоянной дислокации оказались в городе.

Тогда Патиашвили и другие руководители республики приняли на веру это разъяснение.

Мне же удалось выяснить следующее:

Утром 28 ноября 1988 года заместитель командующего войсками ЗакВО генерал-майор Анатолий Картапов созвал экстренное совещание начальников служб штаба округа.

— Перед нами, — сказал он, — поставлена оперативная задача: неформалы создали в городе напряженную обстановку — митинги, демонстрации, пикеты. Для стабилизации обстановки необходимо привести в боевую готовность части и подразделения Тбилисского гарнизона. Каждому из присутствующих предлагается выехать в закрепленные за вами районы города и действовать в соответствии с приказом.

Для выполнения этого «соответствующего приказа» и прибыли в Глданское РОВД, как мы уже знаем, полковник Мегрелишвили и майор Бережной.

Эти лица выполняли тот же приказ и во время апрельской трагедии 1989 года.

Открытие ждало меня и во второй папке, содержащей шифротелеграммы, отправленные за подписью Д. Патиашвили в ЦК КПСС. Я внимательно прочел их.

Меня особенно заинтересовала та — от 7 апреля, — в которой он просил согласия на применение военной силы против демонстрантов. К этой телеграмме был приложен составленный в ЦК КПСС список лиц, кто должен был с ней ознакомиться для принятия решения. В списке я с удивлением обнаружил фамилии В. Медведева и А. Лукьянова.

Почему я остановился на этом факте? Потому, что эти высокопоставленные лица всенародно отрицали свою причастность к отправке вооруженных сил в Тбилиси.

Вспомним выступление Медведева на пресс-конференции перед зарубежными и советскими корреспондентами. Там он говорил, что до 9 апреля в Москве не знали о применении войск против демонстрантов, а тут он в списке тех, кто давал «добро» на эту акцию. В чем же дело? Забегая вперед, скажу, что для получения ответа на этот вопрос я попытался встретиться с Медведевым. Но мне не удалось: помощник ответил, что Медведев просит меня ограничиться телефонным разговором, и дал прямой номер. Я понял, что это значит.



Однако все же позвонил. Из Тбилиси. Он говорил со мной любезно, но на главный вопрос, как я и предполагал, ответил очень коротко: «К тому, что я сказал на пресс-конференции, добавить ничего не могу». В ответ я заявил члену Политбюро, что сохраняю за собой право опубликовать этот его ответ в книге.

Еще больше поразило присутствие в списке к шифротелеграмме фамилии Лукьянова. На Первом съезде чародных депутатов СССР, зачитав приведенный выше документ, Лукьянов подчеркнул: «Это подлинник телеграммы» (см. газету «Известия», № 155, 1989 г.).

В действительности же это был не подлинник. Подлинник выглядит так: «Обстановка в Тбилиси в последнее время резко обострилась. Практически выходит из-под контроля. Экстремистские элементы нагнетают националистические настроения, призывают к забастовкам, неподчинению властям, организуют беспорядки, дискредитируют партийные, советские органы. В сложившейся ситуации надо принимать чрезвычайные меры. Считаю необходимым:

1. Незамедлительно привлечь к уголовной и административной ответственности экстремистов, которые выступают с антисоветскими, антисоциалистическими, антипартийными лозунгами и призывами (правовые основания уже этого имеются);

2. С привлечением дополнительных сил МВД и Закавказского военного округа ввести в Тбилиси особое положение (комендантский час);

3. Осуществить силами партийного, советского и хозяйственного актива комплекс политических, организационных и административных мер по стабилизации обстановки;

4. Не допускать в союзных, республиканских средствах массовой информации публикаций, ослабляющих ситуацию.

На первый, второй, четвертый пункты просим согласия.

Д. Патиашвили».

Я уверен, что эта шифротелеграмма, текст которой был составлен вторым секретарем ЦК КП Грузии Б. Никольским, опиралась на информацию, посланную по каналу контрразведки ЗакВО в Москву. Будь она обнародована в таком виде, в каком была послана из ЦК КП Грузии, т. е. в том контексте, что Патиашвили просил у ЦК КПСС разрешения на применение вооруженных сил, то стало бы ясно: вопрос этот решался в Москве, а не на республиканском уровне. В зачитанном на съезде «подлиннике» не только отсут-



ствуется последняя до подписи, очень важная строчка, но имеются и другие расхождения с оригиналом. Кроме того, Лукьянов ввел в заблуждение советскую и мировую общественность, прочитав и другую шифрограмму, полученную из Тбилиси уже после трагедии — 9 апреля в 11 часов дня. Чтоб «оправдать» применение военной силы против безоружных людей, авторы расправы писали: «Лидеры так называемого национально-освободительного движения начали оглашать планы захвата власти в республике». Это была ложь. И далее: «Подразделениями Министерства внутренних дел и Закавказского военного округа строго выполнялись инструкции о бережном отношении к женщинам и подросткам» (!).

Лукьянов оповестил об этом весь мир, хотя уже знал, что в результате разгона демонстрации вооруженными силами погибли именно женщины и подростки.

Возникает вопрос: а допустимо ли подобное? Как гражданин и журналист официально ставлю вопрос о том, чтобы Председатель Верховного Совета СССР прокомментировал этот факт. Я послал А. Лукьянову фототелеграмму, в которой, в частности, пишу: «Я хочу задать вам вопрос относительно несоответствия шифротелеграммы, зачитанной вами на съезде и полученной в ЦК КПСС в действительности. Я уверен, вы примете меня и прокомментируете этот факт, так взволновавший 5-миллионное население Грузинской ССР».

В ответ — молчание. Вернее — игнорирование запроса прессы.

И еще по части политической этики. В беседе с Д. Язовым, когда мы говорили о применении химических средств, он повторил, что некоторые химические средства были из числа тех, какие используются против тараканов. Впервые такое оскорбительное выражение министр употребил на встрече с московскими кинодеятелями, потом об этом опубликовали в бюллетене «Аргументы и факты». Я сказал Д. Язову, что это, мягко говоря, бестактность с его стороны: люди погибли от газов, это подтверждено экспертизой, а он упоминает тараканов. Министр задумался, потом сказал: «Знаете что, когда будете публиковать нашу беседу, передайте мои извинения грузинскому народу за проявленную нетактичность».

Это было сказано настолько искренне, что я с удовольствием выполнил его просьбу в интервью грузинской республиканской газете.

Среди широкого спектра вопросов, поднятых в беседе с



министром обороны, я выделил бы его ответ, который, хотя и не касался непосредственно событий 9 апреля, но имеет важнейшее значение.

— Почему, — спросил я, — в последнее время у нас и за рубежом участились разговоры о возможности военного переворота в Советском Союзе? Не подтверждает ли это русскую пословицу: «Нет дыма без огня»?

— Нет, не подтверждает, — сказал министр. — В данном случае это искусственный дым без огня. Его раздувают с одной лишь целью, чтобы попытаться создать конфронтацию в руководстве страны. Должен заявить, что Вооруженные Силы СССР являются надежной опорой власти, поддерживают ее.

Это действительно так. Я абсолютно уверен в том, что министр обороны СССР сказал правду и призываю всех верить этому важному заявлению.

Эту главу я хочу закончить словами народного депутата СССР, замечательного писателя и гражданина Юрия Власова.

— Пока КГБ наряду с МВД и армией имеет возможность вмешиваться в политические процессы, происходящие в нашем обществе, и пока у нас нет демократических гарантий прав человека, всегда возможны рецидивы прошлого.

## КОНЦЕПЦИЯ НАСИЛИЯ

Насилие... что это за феномен в жизни государства?

Помощник госсекретаря США Маргарэт Татуайлер недавно заметила: «Существует фундаментальная разница между кратковременным применением силы для восстановления порядка и использованием силы для подавления мирного и законного политического выступления». Это верное определение можно отнести не только к использованию военной силы, но и вообще ко всем видам силового воздействия.

Применение военной силы против демонстрантов, выражавших свои политические или общественные взгляды 9 апреля в Тбилиси, нельзя не рассматривать в контексте истории Советского государства. Вне этого контекста нельзя осмыслить ни сталинский 1937 год, ни всеобщую коллективизацию, ни «красный террор», ни ссылку бывших военнопленных, ни другие проявления жесточайших репрессий. Для понимания феномена сталинизма мы должны помнить, что административно-командная система, сковывавшая интеллектуальную энергию всех народов государства, являлась продолжением «военного



коммунизма», как говорится, детищем Октябрьского переворота.

Оглянемся на пройденный после 1917 года путь, и мы увидим, что перманентное силовое давление является неизменной характерной особенностью метода правящих инстанций государства.

Мой метод размышления — апеллировать к фактам и документам.

Перед вами уникальный документ, письмо Ленина, никогда ранее не публиковавшееся, хотя в одном издании собрания сочинений есть ссылка на его существование<sup>1</sup>.

Привожу полный текст письма:

«СТРОГО СЕКРЕТНО

Товарищу Молотову  
для членов Политбюро

Просьба ни в коем случае копий не снимать, а каждому члену Политбюро (тов. Калинин тоже) делать свои заметки на самом документе

Ленин

По поводу происшествия в Шуе, которое уже поставлено на обсуждение Политбюро, мне кажется, необходимо принять сейчас же твердое решение в связи с общим планом борьбы в данном направлении. Так как я сомневаюсь, чтобы мне удалось лично присутствовать на заседании Политбюро 20 марта, то поэтому изложу свои соображения письменно.

Происшествие в Шуе должно быть поставлено в связь с тем сообщением, которое недавно РОСТ переслало в газеты не для печати, а именно сообщение о подготовляющемся черносотенцами в Питере сопротивлении декрету об изъятии церковных ценностей. Если сопоставить с этим фактом то, что сообщают газеты об отношении духовенства к декрету об изъятии церковных ценностей, а затем то, что нам известно о нелегальном воззвании патриарха Тихона, то станет совершенно ясно, что черносотенное духовенство во главе со своим вождем совершенно обдуманно проводит план дать нам решающее сражение именно в данный момент.

Очевидно, что на секретных совещаниях влиятельнейших групп черносотенного духовенства этот план обдуман и принят

<sup>1</sup> В. И. Ленин. ПСС. М., 1964, т. 45. стр. 666--667.



достаточно твердо. События в Шуе лишь одно из проявлений и применений этого общего плана.

Я думаю, что здесь наш противник делает громадную ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу тогда, когда она для него особенно безнадежна и особенно невыгодна. Наоборот, для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем с 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей, и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо, во всяком случае, будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительную горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету.

Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимы. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, и несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь. Все соображения указывают на то, что позже сделать нам этого не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечивал нам сочувствие этих масс, либо, по крайней мере, обеспечил бы нам нейтрализацию этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием ценностей останется безусловно и полностью на нашей стороне.

Один умный писатель по государственным вопросам справедливо сказал, что если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо



осуществлять их самым энергичным образом и в самый краткий срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут. Это соображение в особенности еще подкрепляется тем, что по международному положению России для нас, по всей вероятности, после Генуи окажется или может оказаться, что жестокие меры против реакционного духовенства будут политически нерациональны, может быть даже чересчур опасны. Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена полностью. Кроме того, главной частью наших заграничных противников среди русских эмигрантов, т. е. эсерам и милюковцам, борьба против нас будет затруднена, если мы именно в данный момент, именно в связи с голодом проведем с максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного духовенства.

Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Самую кампанию проведения этого плана я представляю следующим образом:

Официально выступать с какими-то ни было мероприятиями должен выступать только тов. Калинин, — никогда и ни в коем случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой тов. Троцкий.

Посланная уже от имени Политбюро телеграмма о временной приостановке изъятий не должна быть отменена. Она нам выгодна, ибо посеет у противника представление, будто мы колеблемся, будто ему удалось нас запугать (об этой секретной телеграмме, именно потому, что она секретна, противник, конечно, скоро узнает).

В Шуе послать одного из самых энергичных, толковых и распорядительных членов ВЦИК или других представителей центральной власти (лучше одного, чем несколько), причем дать ему словесную инструкцию через одного из членов Политбюро. Эта инструкция должна сводиться к тому, чтобы он в Шуе арестовал как можно больше, не меньше, чем несколько десятков представителей местного духовенства, местного мещанства и местной буржуазии по подозрению в прямом или косвенном участии в деле насильственного сопротивления декрету ВЦИК об изъятии церковных ценностей. Тотчас по окончании этой работы он должен приехать в Москву и лично сделать доклад на полном собрании Политбюро или перед дву-



мя уполномоченными на это членами Политбюро. На основании этого доклада Политбюро дает деятельную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности также и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров.

Самого патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он несомненно стоит во главе всего этого мятежа рабовладельцев. Относительно него надо дать секретную директиву Госполитупру, чтобы все связи этого деятеля были как можно точнее и подробнее наблюдаемы и вскрываемы именно в данный момент. Обязать Дзержинского, Уншлихта лично делать об этом доклад в Политбюро еженедельно.

На съезде партии устроить секретное совещание всех или почти всех делегатов по этому вопросу совместно с главными работниками ГПУ, НКЮ и Ревтрибунала. На этом совещании провести секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать.

Для наблюдения за быстрейшим и успешнейшим проведением этих мер назначить тут же на съезде, т. е. на секретном его совещании специальную комиссию при обязательном участии т. Троцкого и т. Калинина, без всякой публикации об этой комиссии с тем, чтобы подчинение ей всех операций было обеспечено и проводилось не от имени комиссии, а в общесоветском и общепартийном порядке. Назначить особо ответственных наилучших работников для проведения этой меры в наиболее богатых лаврах, монастырях и церквях.

Ленин.

10.02.22

Прошу т. Молотова постараться разослать это письмо членам Политбюро в круговую сегодня же вечером (не снимая копий) и просить их вернуть Секретарю тотчас по прочтении



с краткой заметкой относительно того, согласен ли с основою каждый член Политбюро или письмо возбуждает какие-нибудь разногласия.

Ленин»

Через несколько дней — 23 февраля 1922 года — на основе этого письма ВЦИК издал официальный Декрет об изъятии церковных ценностей в государстве, осуществление которого не только лишило Россию величайших культурных ценностей, но разорило ее и духовно. Вот сообщения из тогдашней прессы:

«Изъято в церквях Петрограда более 1.254 пудов серебра, 13 пудов золота, 4.114 бриллиантов, 1.025 драгоценных камней — рубинов, алмазов, сапфиров, жемчугов, хризолитов. В том числе, из Исаакиевского собора бриллиант в 30 каратов. Эти сведения на 10 марта не полны».

«...Икона «Владимирская божья мать» Успенского собора стоит несколько сот тысяч рублей, «Пименовская божья мать» стоит не менее одного миллиона рублей, «Се человек» — тоже около 100.000 рублей, а найденная Мадонна Рафаэля в Нижнем Тагиле — несколько миллионов! А если это так, то давайте продадим. Их у нас много».

Те, кто сопротивлялся расхищению церковных ценностей, имеющих богослужебное назначение, подвергались жесточайшему наказанию. Газета «Правда» (№ 101, 1922 г.) предупреждала население: «В городе Шуе 10 мая Трибунал постановил: священников и благочинных Заозерского, Добролюбова, Надеждина Христофора, Вишнякова, Орлова, Фрязина, Солодова, Телегина, а также гражд. Брусилову (жену сына ген. Брусилова Н. С.), Тихомирова и Раханова подвергнуть высшей мере наказания».

Нуждается ли в комментариях все это? Уверен — нет! С первого же дня Октябрьского переворота насилие стало концепцией правящих инстанций Советского государства. Русский профессиональный революционер Н. Валентинов (Вольский Н. Н.), лично знавший Ленина, пишет:

«...Мысль о захвате власти и диктатуре тогда действительно бродила, формировалась в голове Ленина, несмотря на то, что этому шла наперекор критика идеи захвата власти в работе Плеханова «Наши разногласия», с усвоением которой в 1889 г. Ленин начал свое марксистское воспитание. Написав «Шаг вперед, два шага назад», Ленин в это время пришел к твердому убеждению, что ортодоксальный марксист-социал-демократ непременно должен быть ЯКОБИНЦЕМ, что якобинство требует диктатуры, что «без якобинской чистки нельзя



произвести революцию» и «без якобинского насилия диктатура пролетариата выхолощенное от всякого содержания слово».

Эта концепция насилия не только продолжалась после захвата власти большевиками, но и не скрывалась. Наоборот — даже пропаганда такой концепции использовалась как вид насилия — угроза, устрашение. «Нам нельзя отказываться от применения репрессий к политиканствующей интеллигенции. Репрессии диктуются партийной целесообразностью, однако парторганизации должны твердо памятовать, что репрессии будут достигать цели только в сочетании с другими мерами партийного воздействия». Эти слова принадлежат одному из крупных партийных функционеров 20-х годов А. Зиновьеву. Они вернулись к их автору в 1938 году. Насилие вновь торжествовало.

«Партия эсеров заслуживает смерть, она должна умереть. Нужно падающего толкнуть в спину и ускорить его смерть». Это — слова А. Луначарского, человека, ведающего комиссариатом народного образования в 1922 и последующих годах в Советском государстве: всего лишь два предложения, а слово «смерть» в них употреблено трижды.

А вот еще один образец гуманизма по Луначарскому: «...Ни о какой автономии столь важного органа культурной, хозяйственной и общественной жизни, как высшее учебное заведение (конкретно: Московское высшее техническое училище), не может быть и речи. Продолжение в связи с этим забастовки или повторение вызовов немедленный арест виновных и предание суду». На этот раз вкупе с наркомом по просвещению этот циркуляр подписал секретарь ЦК РКП Молотов.

А вот выдержка из речи Серго Орджоникидзе, произнесенной им в Тбилиси в 1924 году:

«В народе говорят, что большевики любят расстреливать людей. Это хищник любит пожирать человека. Мы расстреливаем потому, что нет другого пути. Мы, конечно, перестреляли бы весь II Интернационал, если бы он нам попался в руки. Когда говорят, что большевики совершили такое злодеяние и такое убийство, которое, мол, ничем нельзя оправдать, надо понять и то, почему мы это совершили — потому что, не показав свою силу, невозможно победить... Интеллигенция России была против Октябрьской революции, но большевики преодолели это препятствие и сегодня Советская Россия имеет свою интеллигенцию. И у нас будет. Будет у нас наша интеллигенция. Мы хотим это».



В том же году заместитель председателя правительства Грузии Л. Гогоберидзе, который к тому же был членом так называемой Ударной Тройки, без суда выносившей смертный приговор негодным ей лицам, через прессу выбросил такой лозунг:

«6% населения Грузии составляет дворянство. Мы должны сократить его количество».

Этот лозунг вскоре был осуществлен с варварской беспощадностью. Историк А. Антонов-Овсеенко констатирует:

«Группу грузинских интеллигентов обвинили в подготовке вооруженного восстания. Камеры в тюрьмах Тбилиси переполнили до отказа. Забирали врачей, адвокатов, инженеров, учителей, писателей, ученых. Их вытаскивали из-за обеденного стола, из постелей, хватали на улице, в гостях. Интеллигенты — все! — подходили под категорию дворян. Полторы тысячи ни в чем не повинных дворян погрузили скопом в товарные вагоны и отправили в Зестафони. Там, в отдаленном стационарном тупике, всех расстреляли из пулеметов. На станции Телави подобная акция повторилась».

Сколько человеческих жизней погублено во время этого геноцида в августе 1924 года в Грузии? Никто не знает, никто не вел учета. Но приблизительную цифру называет сам глава тогдашнего режима М. Кахиани, который в особом секретном донесении в ЦК ВКП(б) подчеркивает: «Пока перед нами в Советской Грузии стоит эта грозная цифра — 120—130 тысяч дворян, кадрового офицерства, торговцев, священнослужителей и проч., нет уверенности в том, что этот горячий материал не воспламенится при всяком удобном случае — международных или внутренних осложнений».

Поэтому их надо уничтожить! И уничтожали.

Исходя из тех же принципов, были уничтожены эсеры и другие «политиканствующие» люди. Хотя по отношению к ним было применено «право». Но какое это было «право»? Сбежавший из Советской России в эмиграцию Максим Горький писал Анатолю Франсу: «Суд над эсерами носит циничный характер публичной подготовки убийства людей, которые искренне были преданы делу освобождения русского народа».

Концепция насилия, которая оставалась незыблемой на протяжении всех десятилетий диктатуры правящего аппарата, была многоликой.

Великого русского писателя А. И. Солженицына выдворили из его родины. Но такое наказание придумал не Бреж-



нев. Сталин выдворил Троцкого. Но и он не был инициатором такого метода насилия.

Вот отрывок из беседы Троцкого с корреспондентом американского журнала «Интернейшенл Ньюс Сервис» Луизой Брайтан-Рид:

«Вы спрашиваете, чем объясняется постановление о насильственной высылке из нашей страны элементов, враждебных Советской власти?.. Мой ответ прост: те элементы, которых мы высылаем за рубеж, или будем высылать в будущем, являются политическими ничтожествами, но они — потенциальное оружие в руках наших вероятных врагов: в случае новых военных или иных осложнений эти неисправимые и непримиримые элементы превратятся в военно-политических агентов и мы вынуждены будем расстреливать их в соответствии с нашими законами... Надеюсь, вы не откажетесь признать нашу такую гуманную предусмотрительность!».

«Гуманный» Троцкий! Спустя несколько лет Сталин обошелся с ним точно так же, как делал он сам еще до начала «сталинской эпохи», применяя право ОГПУ на высылку за границу лиц, причастных к антисоветской деятельности согласно постановлениям ВЦИК РСФСР от 10 августа и 16 октября 1922 года.

«Осудить применение насилия!» — постановил Второй съезд народных депутатов СССР по поводу трагедии в Тбилиси 9 апреля.

Большинство участников съезда, проголосовавших за эту декларацию, многие люди восприняли ее как справедливое выражение дум народа, его чаяний и надежд. Но гуманными декларативными заявлениями история партии советских коммунистов переполнена. Каждая декларация должна подтверждаться конкретными действиями, за которыми должны следовать конкретные результаты.

Совсем недавно в грузинской республиканской газете было напечатано письмо профессора Тбилисской консерватории Г. Торадзе: «Приближается годовщина трагического 9 апреля. В мартирологе грузинского народа навечно заняли места святые души погибших в ту злосчастную ночь. Их имена никогда не будут преданы забвению. Вместе с тем разве можем мы позабыть и тех, кто, правда, спасся в ту кровавую ночь, но навсегда остался калекой, больным! Дато Паилодзе, молодой отец двух детей, прекрасный специалист, честный гражданин — во время разгона митинга перед Домом правительства он по-



лучил пулевое ранение в голову и ослеп на оба глаза. Ослеп навсегда. Не смогли спасти ему зрение ни в Тбилиси, ни в ФРГ, ни в Париже, куда его повезли за свой счет тамашние медики. Кто ответит за это злодеяние?!»

Я задал вопрос председателю Верховного суда Грузинской ССР А. Каранадзе:

— Могут или нет пострадавшие в результате разгона люди потребовать возмещения убытка?

Он мне ответил:

— Они вправе обратиться в суд.

Я решил возглавить эту акцию. Если суд определит, что люди пострадали в результате насильственного разгона мирной демонстрации, тогда декларативное заявление «Осудить насилие» можно будет приблизить к его практическому исполнению.

### **Постановление съезда народных депутатов Союза Советских Социалистических Республик**

По докладу Комиссии, образованной Первым съездом народных депутатов СССР по расследованию событий, имевших место в гор. Тбилиси 9 апреля 1989 года

Съезд народных депутатов СССР, заслушав заключение Комиссии по расследованию событий, имевших место в гор. Тбилиси 9 апреля 1989 года, отмечает, что в трагедии, связанной с гибелью невинных людей, отразились неспособность бывшего руководства республики в условиях серьезного обострения общественно-политической обстановки в Грузинской ССР разрядить возникшую ситуацию политическими средствами, а также серьезные просчеты и ошибки, допущенные на всех уровнях общесоюзного и республиканского руководства при принятии и реализации решения о пресечении несанкционированного митинга на площади у Дома правительства. Съезд обращает внимание на отсутствие четкой законодательной регламентации порядка и практики использования вооруженных сил для разрешения внутренних конфликтов.

Съезд народных депутатов СССР постановляет:

1. Принять к сведению заключение Комиссии съезда народных депутатов СССР по расследованию событий, имевших место в гор. Тбилиси 9 апреля 1989 года.

2. Осудить применение насилия против участников демонстрации 9 апреля 1989 года в гор. Тбилиси.

3. Поручить Президиуму Верховного Совета СССР на-



править на рассмотрение и решение соответствующих органов предложения Комиссии по расследованию событий, имевших место в гор. Тбилиси 9 апреля 1989 года, и обеспечить контроль за их выполнением.

Подготовить с учетом состоявшегося обсуждения текст сообщения для печати по итогам расследования тбилисских событий.

Председатель Верховного Совета СССР  
М. ГОРБАЧЕВ

Москва, Кремль, 24 декабря 1989 г.

### «КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРИДЕТ К БОГУ!..»

Католикос-патриарх всея Грузии Илья II принял меня в своей резиденции, расположенной рядом с кафедральным Сионским собором в старой части города Тбилиси.

С его святейшеством довелось познакомиться несколько лет назад — в то памятное лето он оказал мне большую честь: согласился поехать в Верхнюю Сванетию, где съемочная группа нашей киностудии снимала по моему сценарию двухсерийный документальный фильм об уникальных памятниках истории, сохранившихся в огромном количестве в этом чудо-уголке «на крыше» Грузии. Комментарии главы церкви придавали фильму большую значимость.

На этот раз темой нашей беседы была, конечно, трагедия 9 апреля.

— На Первом съезде народных депутатов генерал Родионов заявил, что участники митинга грубо отнеслись к вам, когда вы за несколько минут до начала разгона призывали митингующих уйти от надвигающейся беды и разойтись. Действительно ли это было?

Вместо ответа патриарх выдвинул ящик письменного стола и протянул мне лист бумаги:

— Это копия моего письма.

Я прочел:

«Москва, Кремль.

Председателю Верховного Совета СССР,

Генеральному секретарю ЦК КПСС

Михаилу Сергеевичу Горбачеву.

Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич!

Обращаюсь к Вам в связи с тем, что при рассмотрении на съезде трагических событий, происшедших в Тбилиси 9 ап-



реля 1989 года, в речах выступающих несколько раз было упомянуто мое имя.

Для ясного представления ситуации хочу поставить Вас в известность: в ночь с 8 на 9 апреля мне сообщили, что для разгона демонстрантов в Тбилиси введены войска и положение чрезвычайно опасное.

В 3 часа ночи я отправился к Дому правительства и обратился к присутствующим с предупреждением, что опасность реальна, просил, чтобы они вошли в рядом стоящий собор Святого Георгия для молитвы. Демонстрация была мирной, она никому не угрожала, и никто не мог представить, что против них могут использовать дубинки, лопаты и отравляющие химические газы.

Многие демонстранты стояли на коленях и таким образом слушали меня. Потом один из демонстрантов с уважением ответил мне, что ими дана клятва не уходить с этого места до 14 апреля. Я, хотя не знал, что произойдет, но страшное предчувствие овладело мною и поэтому решил остаться вместе с ними, чтобы разделить их участь.

В центральной прессе неоднократно сообщалось, что демонстранты якобы оскорбили меня и якобы войска в целях защиты вывели меня оттуда. Это не соответствует действительности. Наоборот, когда в сторону мирных демонстрантов начали двигаться танки и войска, передо мной молодые люди образовали стену, защищая меня от опасности, к ним же присоединилась и местная милиция.

Что касается того факта, о котором на съезде говорил командующий войсками Закавказского военного округа генерал-полковник Родионов, что якобы демонстранты вырвали у меня микрофон из рук, не дав договорить мне, не соответствует действительности. Такого факта не было.

Хочу сказать, что вообще выступление генерала Родионова своей тенденциозностью и неправильным освещением фактов оскорбило чувства грузинского народа и не способствует улучшению дружбы между нашими народами.

Я выражаю уверенность, что правда восторжествует. Только лишь это сможет стать гарантией того, что подобные страшные факты, которые произошли в Тбилиси, никогда и нигде не повторятся.

Бог мира, любви и правды да будет с Вами!

С глубоким уважением,

Илья II

Католикос-патриарх всея Грузии».



— Вы уверены, что ваша правда дойдет до «самого верха»? — спросил я, возвращая копию письма.

Патриарх помедлил с ответом. Потом он прямо посмотрел мне в глаза и произнес:

— Душа человека — свеча Господня. Рано или поздно каждый человек придет к Богу.

— Каждый? И коммунист?..

— Каждый человек, с глубокой верой в содеянное, — произнес патриарх.

В летнем мареве плыл тяжелый колокольный звон. В нем я услышал ожог боли от вести о злодействе и чудовищной плате за чужие ошибки, светлую скорбь по невинным душам погибших, крики о помощи и недоумение наших девочек, которые уже никогда не будут матерями...

Неумолкаемы колокола Сиони...

## ЖЕРТВЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ВИНОВНЫХ

Эфир на замке!

Это не броская метафора. В течение полугода весь Советский Союз ждал с нетерпением результатов расследований событий в г. Тбилиси парламентской комиссией, образованной Первым съездом народных депутатов СССР.

Отчет комиссии почему-то отодвинули на заключительный день, выделив лишь последних два часа на доклад председателя А. Собчака и прения. За несколько дней до обсуждения — и Центральное телевидение это скрыло от народа — в кулуарах съезда стали распространяться «анонимные» листовки, явно испеченные в армейской кухне.

Но на этом «чудеса» не закончились. Несмотря на решение Первого съезда народных депутатов транслировать ход обсуждения тбилисского события, как и все вопросы повестки дня, хозяева телевидения послушно отключили камеры в Кремлевском Дворце, обманув ожидания миллионов людей. Но что делать со свидетелями?

Вот один из них — помощник члена Политбюро ЦК КПСС и министра иностранных дел СССР Т. Г. Степанов:

«Утром 24 декабря я поехал в Кремлевский Дворец съездов. Накануне в кулуарах съезда распространялась листовка. Великолепно сверстанная и отпечатанная, она содержала ряд вопросов, характер и содержание которых были не менее удивительны, чем ее появление здесь, в парламенте страны. И



то, что она была «брошена в массы» перед обсуждением докладов о событиях 9 апреля, наводило на весьма грустные размышления.

О докладе комиссии А. Собчака много сказано. Выводы ее известны. Отмечу лишь, что когда докладчик попытался сказать, в чем, по его мнению, комиссия расходится с выводами Главной военной прокуратуры, в зале возник смутный гул недовольства, перешедший в громкую шумовую обструкцию.

Затем к трибуне вышел Главный военный прокурор. Пространство сцены, по которой он ступал, побуждает к особой торжественности движения. Шаг был четкий, едва ли не строевой, как и задача, которую предстояло выполнить. Костюм синевато-стального цвета отвечал важности момента. И голос сразу же набрал державный металл, заставивший радостно встрепенуться некоторых моих соседей по амфитеатру.

Нимало не озаботившись юридическими аргументами в пользу правомочности публичного выступления по делу до завершения его расследования, содокладчик сказал, что не только имеет право, но и обязан доложить о некоторых итогах следствия, которое хотя и не завершено, однако...

...Однако совершенно однозначно возлагает вину за происшедшее на участников митинга (!).

Мне вспомнились те апрельские дни. Дважды в сутки — утром и вечером — в зале заседаний бюро ЦК Компартии Грузии анализировались причины трагедии, восстанавливалась ее картина, намечались меры по нормализации обстановки. В строгом значении слова это не было расследованием, но основы его закладывались уже тогда, и участвовавшие в совещаниях юристы были активны. Был активен и Александр Филиппович Катусев. По моим тогдашним наблюдениям это была активность непредвзятого, объективного правоведа, нелюбопытного в своих суждениях, высказываемых без оглядки на чины и мундиры.

Вот характерный пример.

На заседании бюро 17 апреля В. М. Сирадзе сообщила, что студенты Грузинского театрального института отказываются входить в аудитории, так как там, по их мнению, воздух отравлен.

Сообщение приняли к сведению.

На следующий день А. Ф. Катусев встал и доложил:

— Мы проверили аудитории института, произвели забор и анализ воздуха, с результатами ознакомили студентов. Воз-



дух чист. Однако там же обнаружили складированные спецсредства «Черемуха» и РГС-1 (ручные гранаты слезоточивые). О них нам не было известно. Ничего нам не говорили.

— Почему не говорили? — спросил Э. А. Шеварднадзе. — Сначала отрицали применение лопат, потом — «черемухи». Сегодня мы узнаем про РГС. Мы ведь как никак представители Политбюро и обязаны знать все. Почему происходит такое?

Заместитель министра внутренних дел СССР И. Ф. Шилов:

— Мы сами об этом узнали только вчера. Эти средства доставил полк, пришедший в Тбилиси из Баку. Мы проведем служебное расследование.

Э. А. Шеварднадзе:

— Не понимаю, как может происходить такое. Опасно, когда происходят уличные беспорядки. Но вдвойне опасно, когда беспорядок возникает в эшелонах власти.

И. Ф. Шилов:

— Мы дадим этому должную оценку.

— Оценку даст Политбюро!

При всем драматизме ситуации, я, юрист по образованию, испытывал удовлетворение: опытный прокурор без указаний свыше, но в силу высших велений профессионального долга сделал то, что должен был сделать — установил истину.

Теперь, стоя на парламентской трибуне, как за прокурорским пюпитром, он утверждал «истину», от которой хотелось плакать. Опять же как юрист, которому покойный профессор А. Н. Трайнин внушил мысль о святости принципа презумпции невиновности, я не решаюсь анализировать «доказательственный ряд» А. Ф. Катусева — это дело суда и только суда. Однако ни тогда, ни сейчас не могу отделаться от ощущения, что этот ряд выстраивался в таком произвольном порядке, что невинные жертвы 9 апреля превращались в обвиняемых и виновных. Самым же поразительным в этом выступлении был его тон, его пафос, от которого несло чем-то очень хорошо знакомым по «процессам» наших отцов. А еще более поразительным было то, что прокурору аплодировали. Аплодировали в зале. Аплодировали в ложе, где сидел и Э. А. Шеварднадзе. Со своего места мне было видно в каком он состоянии: покрасневшее лицо, опущенная голова...

И тут же, переведя взгляд на президиум, я увидел, как Г. Г. Гумбаридзе отодвинул свое кресло, подошел к предсе-



дательствующему А. И. Лукьянову, склонился над ним, что-то сказал и спустился в зал. Там в это время возникло какое-то движение. Я посмотрел в сторону сектора, где располагались депутаты от Грузии. Один за другим они покидали зал. За ними пошли другие.

Двери амфитеатра были распахнуты настежь. Через них выходил народ. Я увидел Е. Евтушенко, Е. Яковлева, других незнакомых мне людей. Какой-то депутат, напрягая жилы на крепкой рабочей шее, кричал:

— Дураки губят державу, дураки!

В нижнем этаже дворца навзрыд рыдали женщины, кого-то приводили в чувство, и весь этот яростный эксцесс демократии был открыт фото- и телекамерам. Я увидел наполненные слезами глаза Мухрана Мачавариани, Джото Гугучия, Лианы Исакадзе, хмурые, недоумевающие, гневные лица моих соотечественников. Не только тех, с кем рос и дружил, работал и спорил в Тбилиси — здесь в лице Юрия Власова, Черниченко, Гольданского, Сагдеева и скольких еще других всем нам предстало то наше общее Отечество, которое они захотели оборонить от бесправия и произвола.

— Вы напрасно вышли, — сказал я Беглару Махарашвили. — Надо было кому-то из вас остаться и выступить. Ответить.

— Гиви Григорьевич выступает\*...

Вышел Гиви Гумбаридзе, еще разгоряченный после только что произнесенного слова. Депутаты потянулись за ним. Потом вышел Михаил Сергеевич Горбачев и разговаривал с грузинскими депутатами.

Но этого я уже не видел, потому что вернулся в зал. Эдуарда Амвросиевича там не было. Не увидел я его и после возобновления заседания.

Накануне мне звонил Е. В. Яковлев. Сказал, что собирается выступить и попросит Шеварднадзе высказаться.

---

\* Позже мне рассказали: во время выступления Гумбаридзе с места поднялся генерал армии Громов, тот самый, ушедший из Афганистана с последними советскими войсками, он поднял руку, желая, видимо, обратиться к оратору, но остался им незамеченным. Гумбаридзе говорил — генерал продолжал стоять с поднятой рукой. Своеобразная дуэль! Гумбаридзе закончил выступление и направился к выходу — генерал все стоял с поднятой рукой. (И. Г.).



Я сообщил об этом министру. Он ответил, что просить его о выступлении не надо — он сам примет решение.

— Если возникнет необходимость — выскажусь.

Теперь я ждал, что он выступит — необходимость в этом явно возникла. Но он не выступил. Его вообще не было видно в той ложе, где он сидел прежде.

Выслушав выступление М. С. Горбачева, я вышел из амфитеатра и позвонил на работу. Сослуживцы сказали, что Эдуард Амвросиевич, расстроенный, уехал домой.

На следующий день от некоторых товарищей я узнал, что в перерыве он резко высказался и против самого факта содоклада, и против его содержания. Не без некоей внутренней неловкости спросил Эдуарда Амвросиевича, верно ли это.

— Верно, — нехотя ответил он. — Я отрицательно высказывался и раньше о самой идее содоклада, а когда услышал содоклад, выразил мнение: напряжение в Тбилиси удалось снять обещанием объективного, беспристрастного расследования. Теперь уже, на фоне такого содоклада, это обещание обесценилось. Получилось, будто мы обманули народ, не сдержали слова. Речь идет об авторитете высшей власти, а не о моих личных настроениях.

Отключив на минуту кассету с записью рассказа Теймураза Степанова, мысленно возвращаюсь к нашему недавнему разговору с ним в его служебном кабинете. Скромная маленькая комната на одном этаже с кабинетом министра иностранных дел СССР. Своеобразный островок Грузии в небоскребе на Смоленской площади. На стенах — пейзажи Тбилиси, Мцхета, Кахети и Мтатушети, картины грузинских художников. Исключение составляет лишь фотография Вайоминга, важной вехи во взаимоотношениях двух мировых держав.

Мы проговорили тогда несколько часов. Когда-то, в бытность мою заведующим отделом газеты «Вечерний Тбилиси», мой нынешний собеседник начинал в этой редакции совсем молодым журналистом. Хорошо зная его, я мог задавать ему любые непростые вопросы.

— Распространились слухи о том, что после 24 декабря Эдуард Амвросиевич намерен был подать в отставку. Это правда?

— Не обижайся, но это настолько деликатная тема, что я не вправе касаться ее, — отвечал Т. Степанов.

— Но в республиканской прессе почти открыто говорилось об этом...



— Да, я читал... Не знаю, откуда идет эта информация. Знаю только, как был потрясен Эдуард Амвросиевич происшедшим 24 декабря. Но я не могу говорить о его переживаниях — лишь он один имеет на это право.

Эдуард Шеварднадзе воспользовался этим правом: в интервью ведущим программы «Взгляд» А. Любимову и А. Шипилу. Беседа шла в самолете во время визита в страны Африки. Журналисты спросили, не возникала ли у министра за эти годы мысль об отставке. После продолжительной паузы он ответил:

— Был один момент. Когда Съезд народных депутатов обсуждал вопрос о событиях в Тбилиси. Выслушав выступление обвинителя-прокурора, я действительно дошел до такого состояния, что утратил равновесие. Почему? Потому что, когда ездил в Тбилиси — обещал народу: сделаю все, чтобы установить истину... Хочу сказать со всей ответственностью: если бы не Михаил Сергеевич — я бы не остался...

Позволю себе прокомментировать этот ответ. Фактически он содержит в себе ответы на несколько вопросов: был ли момент, когда возникла мысль об отставке? Почему возникла эта мысль? Почему не была осуществлена?

Итак, с одной стороны — оскорбленное чувство человека, оказавшегося в ложном свете перед поверившими ему людьми, с другой — чувство долга, нежелание покинуть в трудный для перестройки час ее инициатора и лидера, соратника и товарища.

Ситуация более чем драматическая.

В нескольких своих публичных выступлениях и интервью Э. Шеварднадзе упорно повторяет одну мысль: в случае поражения перестройки возможна диктатура.

Чтобы этого не произошло, Шеварднадзе всегда поддерживает Горбачева. Этот его выбор непоколебим был даже в трагической ситуации 9 апреля и 24 декабря 1989 года. Его высказывания против применения силы и искажения истины — это тоже поддержка Горбачева. И хотя их тандем, столь много добившийся во внешнеполитических делах, пытаются расколоть, он, я думаю, неразделим.

«Я преисполнен решимости добиваться параллельности с Советским Союзом в построении нового мира, — сказал недавно президент США Джордж Буш. — На языке международных отношений параллельность означает роспуск солдат, демонтаж танков, уничтожение ракет, запрет химического оружия и устранение его с лица земли».



Это прекрасно, думаю я, но как вписываются в эту стратегию мира и вписываются ли вообще национальные проблемы грузинского народа, других народов Советского Союза?

Отстаивая свое национальное и гражданское достоинство, грузинский народ добивается подлинной независимости, подлинного суверенитета, осуществления своего права на самоопределение. Помнят ли об этом сильные мира сего, воздающие должное выдающемуся советскому тандему за его миротворческую внешнеполитическую миссию?

Иными словами: видны ли наши беды и порывы телескопах большой политики или их заслоняют колоссальные глобальные сдвиги, вызванные политикой нового мышления? С этих высот Тбилиси с его 9 апреля виден не более, чем точка на глобусе — сказал один мой знакомый. Такова горькая правда.

Пора, думаю я, распространить принципы нового политического мышления и на внутреннюю жизнь страны, предоставить ее народам ту самую свободу выбора, в которой мы не отказываем народам зарубежных стран.

Отстаивая свое право на национальное и гражданское достоинство, суверенитет и независимость, грузинский народ требует радикальной перестройки политической, экономической и социальной жизни. Но мне иногда кажется, что есть два Горбачева: один — на волне признания его действительных заслуг в глазах всего мира и второй — не добившийся радикальных перемен во внутренней жизни страны.

Не может и не должно быть «двойного стандарта» в реализации заявленных принципов и целей — в их экспортном, так сказать, варианте и во внутреннем исполнении.

Хотя вернемся к конкретным фактам. Недавно я получил письмо следующего содержания:

«В связи с расследованием уголовного дела о событиях 9 апреля 1989 г., прошу предоставить для ознакомления все материалы расследования обстоятельств по этому вопросу, проведенного Вами.

Старший помощник Генерального прокурора Союза ССР, государственный советник юстиции

2 класса

А. И. Шкребец.»

Эту просьбу Генерального прокурора СССР я выполнил, не очень, однако, надеясь на успех дела. Оснований для скептицизма более чем достаточно, когда жертвы превращаются в виновных.



## РАЗГОВОР С ОТСТАВНЫМ ХОЗЯИНОМ

Джумбер Ильич Патиашвили. Кто же он, человек, <sup>ИМЯ</sup> которого сегодня на устах у многих и который со <sup>столь неза-</sup>видной репутацией ушел с политического поста?

С ним я познакомился 12 апреля, когда вместе с Шеварднадзе и Разумовским он, еще в ранге первого секретаря ЦК КП Грузии, пришел к нам на киностудию. После этого мы встречались и беседовали несколько раз.

Живет он в самом престижном районе столицы Грузии — Ваке. В подъезде — пункт личной охраны. Лифт. На пятом этаже справа ничем не примечательная дверь, за ней — просторная, светлая, со вкусом обставленная квартира. Дорогие картины, легкая лестница, ведущая на антресоли, на всем печать умиротворенного порядка и спокойствия.

Члены семьи: симпатичная супруга Тина, теща, сыновья — 16-летний Георгий и 12-летний Паата, и глава семьи — современный тбилисский интеллигент, высокий, представительный, с мягкими элегантными манерами.

Я был и на его новой работе — с мая 1989 года он генеральный директор научно-производственного объединения «Тавтави» («Колос»). Каждое утро в 8.45 он садится в персональный черный лимузин и едет на работу, которая находится более чем за 20 километров от его дома, за древней столицей Грузии — Мцхета.

— Красивое здание, ультрасовременный интерьер! — не удержался я от реплики.

— Да, хорошее, — тихо произнес он в ответ и, как мне показалось, вложил в улыбку какое-то чувство. — Я, как представитель этой отрасли, хотел, чтобы мои коллеги имели образцовую базу. Не думал, что придется здесь работать!..

— Вы по специальности...

— Агроном, биологического уклона. В 1966 году окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию «Подбор озимых культур». И дипломную работу на эту же тему. Увлекала меня эта отрасль...

— Однако отошли от своей основной профессии.

— Отошел и, что самое главное, отстал от нее. Вернее, она пошла вперед. А я...

— Раз вернулись в отрасль, придется догонять.

— Придется. Жизнь требует своего... Хотя, откровенно говоря, пока что мне очень трудно отойти от того, что произошло...



В его больших глазах мелькнула тень.

Но во время бесед был и такой момент, когда эти глаза наполнились слезами.

— ...В то утро, когда случилась страшная беда, совершенно потрясенный и душевно разбитый, я попросил оставить меня в кабинете одного. В те минуты я был на грани жизни и смерти. Я должен был принять решение. По отношению к себе... Вдруг отворилась дверь и на пороге я увидел своего сына Георгия. Я удивился: что ему понадобилось здесь в столь раннее утро? Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Потом он медленно приблизился ко мне и тихо, но твердо сказал: «Папа, я понимаю твое состояние, а потому прошу тебя крепиться. Так надо. Это необходимо». Я поразился. Я считал его мальчиком, а он, оказывается, стал мужчиной. Когда это произошло?.. Я обнял его. Мы стояли так, пока кто-то не открыл дверь...

Нугзар Попхадзе, бывший секретарь ЦК КП Грузии по идеологии и давний товарищ Патиашвили сказал мне: человека столь трагичного, как Джумбер, не сыскать на свете — Грузия, родной народ ему дороже собственной жизни, а его дела обернулись так, что свой народ отвернулся от него.

Чем значителен трагизм этого человека? — спросите вы. Прежде всего раздвоением личности, считаю я: грузин и кровью. и душой он подчинил себя концепциям, им самым глубоко не осмысленным. Как высшее должностное лицо в республике, считал себя в первую очередь ответственным перед теми, кто его назначил «сверху», но не защитником и проводником интересов своего родного народа, не только характер, но и устремления которого ему хорошо известны. Этот момент в деятельности любого политического и государственного деятеля имеет высочайшее нравственное значение.

— Кто и как вас назначил на пост первого секретаря? — спросил я Патиашвили.

— Избрали на Пленуме ЦК Компартии Грузии, как положено, — ответил он с легкой улыбкой.

— Это формально, а если точнее?

— Точнее... — повторил он и промолчал. Потом сказал: — Я не присутствовал при том разговоре, но мне рассказали, что было именно так: Михаил Сергеевич Горбачев спросил Шеварднадзе: как Вы думаете, Эдуард Амвросиевич, ведь будет правильно, если предложить на пост первого секретаря в Грузии товарища Патиашвили? Думаю, будет правильно, со-



гласился Шеварднадзе, хотя я не знаю, хотел ли он видеть на этой должности именно меня, а не кого-нибудь другого.

Так или иначе, как это принято в нашем государстве, главой республики Патиашвили был назначен «сверху», из Москвы.

Я не знаю, кто первым назвал кандидатуру Гиви Гумбаридзе на эту должность после событий 9 апреля, но Пленум ЦК Компартии Грузии избрал его первым секретарем по предложению Э. Шеварднадзе. Перестройка продолжается.

Но вернемся к Патиашвили.

В заключении парламентской комиссии под председательством А. Собчака записано:

«На основе имеющихся материалов комиссия Съезда народных депутатов СССР приходит к следующим выводам:

1. ...Политическую и иную ответственность за трагические последствия событий 9 апреля 1989 г. в Тбилиси несут бывшие секретари ЦК Компартии Грузии Патиашвили Д. И. и Никольский Б. В.».

Думаю, эта конкретизация может способствовать дезориентации общества, т. к. она, как луч прожектора, выхватывает из тьмы лишь один-единственный объект. А куда делись все остальные, что происходило вокруг, выразителями чего были эти лица? Я имею в виду все: и нажим «сверху», и поддержку «снизу», и подталкивание «с боков», весь спектр действий нашей неправовой системы, в том числе такой факт, отмеченный, вроде между прочим, председателем парламентской комиссии А. Собчаком: «В Грузию был направлен первый заместитель министра обороны Кочетов, представители ЦК КПСС, группа ответственных работников: Лобко, Селиванов, Буянов» (пропущены Бакланов и Михайлов — И. Г.). Все это руководители секторов, отделов ЦК КПСС, достаточно крупные и ответственные партийные работники! Поэтому считать главными «героями» трагедии 9 апреля Патиашвили и Никольского вряд ли объективно. Отдели этих лиц от их должностей — апрельские события не произошли бы?

...7 апреля утром ему доложили, что обещанные Москвой войсковые подразделения уже начали прибывать, однако не уточнили, где садятся самолеты — в самом Тбилиси или в Вазиани, в зоне дислокации «родионовских частей». (Вспоминаю, Д. Язов мне сказал: «Подразделения внутренних войск перебрасывались в Тбилиси нашими, Министерства обороны самолетами»).

«Теперь все будет в порядке», — подумал Патиашвили,



но эта информация ему не принесла ни малейшего удовлетворения, наоборот — он почувствовал новую тяжесть в сердце.

Он подошел к окну. С высоты кабинета, расположенного на 11-м этаже нового здания ЦК КП Грузии, город казался по-прежнему спокойным и ласковым. Он здесь родился, учился, стал человеком. «Первым человеком в Грузии!..». Вдруг издалека донесся звон колокола. Или это ему слышалось!.. Почему-то вспомнился давний эпизод: когда он учился то ли в первом, то ли во втором классе, мать окрестила его тайком от отца, который узнал об этом пост фактум, но до конца своей жизни не мог простить жене столь «неположенный» поступок. Причина была в том, что отец тогда занимал должность замминистра сельского хозяйства республики и за такое «антикоммунистическое деяние» ему объявили выговор по партийной линии. Спустя несколько лет отца, проводившего ревизию одного крупного учреждения, убили махинаторы — в то время слово «мафия» у нас еще не было в ходу.

— Что означает для Вас церковь? Религия? — спросил я бывшего коммунистического лидера республики.

— Я, как Вы понимаете, далеко не религиозный человек, — ответил он, — христианская религия, церковь для меня — как история и традиции моего народа. Они всегда были переплетены друг с другом, и я их также воспринимаю как одно целое.

«...Теперь все будет в порядке, все уладится!» — вновь повторил он в мыслях, продолжая стоять у окна. Однако это настойчивое самовнушение не приносило ему никакого облегчения, наоборот — его не покидало предчувствие надвигающегося чего-то рокового. Рокового для всех — для него самого, для тех, кто внизу, расположившись на ступенях лестниц Дома правительства, проводят голодовку, возможно, и для тех, кто там, «наверху».

«Как же однако они присылают войска без официального решения или постановления? — подумалось вдруг. — Ведь и от меня они никакого официального запроса не имеют?..»

Действительно, такой запрос Патиашвили послал в ЦК КПСС лишь вечером, в 20 часов 40 минут, когда войска уже перебрасывались в Тбилиси. Произошло это так (рассказывает Н. Попхадзе, ныне переведенный в аппарат ЦК КПСС):

— 7 апреля вечером, в 18 часов 30 минут членов бюро ЦК Грузии срочно собрали на заседание. Патиашвили начал: «Мы все знаем и видим, какое в городе положение. Оно с каж-



дым часом обостряется. Я только что еще раз разговаривал с товарищами Разумовским и Чебриковым. Поставлен в известность товарищ Лигачев...»

Вдруг говорившего прервал работник ЦК КПСС Лобко, который уже несколько дней находился в Тбилиси. Он сказал:

— Нам надо принять решительные меры, а в Москве, в ЦК, нас поддержат во всем, что бы мы ни потребовали.

Потом стали выступать члены бюро и приглашенные генералы. Все говорили, что необходимо принять решительные меры для прекращения митингов и голодовки. Кто-то сказал, что организаторы беспорядков намерены продолжать акцию до 14 апреля, а затем разойтись.

— Мы не можем терпеть такие беспорядки еще неделю! — воскликнул кто-то из участников заседания.

А через два часа, в 20 часов 35 минут, в Москву, в ЦК КПСС была направлена шифротелеграмма с просьбой о вводе в Тбилиси дополнительных вооруженных сил.

Шифрограмму послали, но Патиашвили тогда не знал о факте, который мне стал известен лишь спустя полтора года после трагедии 9 апреля: подразделения внутренних войск СССР получили секретное распоряжение сосредоточиться в Тбилиси еще ...5 апреля 1989 года (!). Об этом весьма важном факте я расскажу ниже в отдельной главе.

Возникает вопрос: зачем надо было обращаться в ЦК КПСС с такой просьбой, когда войска для разгона митингующих уже с утра этого дня перебрасывались в Тбилиси?

Я уверен, этот документ был создан лишь для выполнения формальной функции: дескать, все решилось по требованию грузинского республиканского руководства, а не по желанию «центра».

Именно такую цель преследовал тогдашний первый заместитель Председателя Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов, который эту шифрограмму огласил с трибуны Первого съезда народных депутатов СССР... в отредактированном виде, что не помешало ему всенародно объявить: «Это подлинник телеграммы».

Между прочим, корреспонденты компании Би-Би-Си, швейцарского телевидения и израильской газеты, беседуя со мной в различное время и независимо друг от друга, сказали мне одно и то же: «В случае обнародования в нашей стране подобных фактов, обличающих правительство, оно как минимум



подало бы в отставку, а журналист, добывший такие факты, стал бы миллионером. А как у вас?»

Я улыбнулся.

Если бы в парламенте Советского Союза применялся порядок импичмента, то тов. Лукьянов за такой проступок должен был предстать перед судом, но поскольку правового государства у нас пока нет, он пошел выше — стал Председателем Верховного Совета СССР.

— Не скажете ли мне, какие взаимоотношения поддерживались в те трагические дни между ЦК партии и КГБ республики? — спросил я у Патиашвили.

— Каждый выполнял свои функции.

— Разве эти функции нигде не пересекались, вернее, — не соединялись?

— Правда, этими вопросами, в основном, занимался второй секретарь ЦК, но, как я знаю, такое смыкание происходило в сфере информации; и КГБ и другие правоохранительные службы, думаю, самостоятельно посылают информацию в Москву по своим каналам, но поставляют они ее и в ЦК партии республики.

— А как военные, штаб ЗакВО?

— Военные нам ни в коей мере не подотчетны.

— Кстати, какие функции при вас выполнял генерал Георгадзе?

— Он генерал в отставке. Работал и продолжает работать помощником первого секретаря ЦК. Кроме того, он секретарь Совета обороны.

— Совет обороны республики? В мирное время? При ЦК партии?

— В его компетенции вопросы всеобуча, призыва на службу в армию...

Однако именно на этом совете были решены не свойственные ему вопросы по разгону демонстрации в устрашающих деталях. На его специальном заседании узкий круг руководителей республики держал совет с генералами. Руководство республики здесь представляли первый секретарь ЦК КП Грузии Д. Патиашвили, второй секретарь Б. Никольский, Председатель Президиума Верховного Совета О. Черкезия, Председатель Совета Министров З. Чхеидзе, Председатель КГБ Грузии Г. Гумбаридзе, был тут и генерал Георгадзе; Вооруженные силы СССР представляли первый заместитель Министра обороны генерал армии К. Кочетов, командующий Закавказским



военным округом И. Родионов, член Военного Совета ЗакВО генерал-лейтенант А. Новиков, министр внутренних дел генерал-лейтенант Ш. Горгодзе. Кстати, в рамках своего расследования я встречался и беседовал с каждым из названных выше лиц, кроме Г. Гумбаридзе — мои попытки встретиться с ним разбились о барьер молчания.

— Где вы лично находились в ту ночь? Есть слухи, что наблюдали за событиями на проспекте из окон ЦК.

— Нет. Я находился в своем служебном кабинете всю ночь, как и в предыдущие дни — оттуда проспект не виден. После двенадцати часов предложил всем руководителям республики оставаться в своих кабинетах.

— Но вам докладывали, что происходило на проспекте...

— Ночью, уже девятого, я связался с Родионовым по радио и сказал: собралось очень много народа и, может, есть смысл отложить пресечение демонстрации, но генерал ответил, что все будет выполнено, как намечалось, что все будет в порядке.

— Но свое обещание Родионов не выполнил?

— Не выполнил.

— Вы не думаете писать мемуары, ведь ваша жизнь аккумулировала много интересного? — этот вопрос удивил Патиашвили.

— Разве их пишут в мои годы? Хотя, возможно, вы правы. У меня на многое открылись глаза. Например, чаще общество, интеллигенция. 7 и 8 апреля мы встречались с интеллигенцией и партактивом. Откровенно говоря, мне по-человечески хотелось услышать от них обоснованное возражение по некоторым вопросам, которые мы, руководство, были обязаны, или, прямо скажем, были вынуждены поставить именно так, а не иначе. Но возражений практически не было. Были отдельные замечания, но я бы назвал их формально-альтернативными. Не могу умолчать: меня просто поразили единодушные аплодисменты, которыми 8 апреля собрание партийного актива встретило предложение взять под арест лидеров неформалов. Вы можете спросить: если так, то почему мы выдвигали вопросы, с которыми, скажем, лично я внутренне не был согласен. Ответить сложно. Но, думаю, сами приблизитесь к ответу, если всесторонне проанализируете весь круг функций первого секретаря ЦК.

— Вы не первый руководитель, поощряющий конформизм в обществе. Режиссер Чхеидзе сделал ложный фильм о партийном работнике «Твой сын, земля!» («Секретарь рай-



кома»), а вы подняли его на щит, выдвинули на высшую государственную премию. А «Покаяние»?

— Разве вы не согласны с разоблачением культа личности в этом фильме? — с удивлением спросил Патиашвили;

— Конечно, согласен. Ценю и чисто профессиональные стороны картины, но честно ли рассматривать феномен Сталина или Берии вне контекста истории Советского государства, начиная с его зарождения? Это чистейшей воды конъюнктура; деформирующая объективную историю! Таких примеров хоть отбавляй. Поэтому, можно сказать, власти покупали души талантливых людей для укрепления своих позиций, не обеспечивая истинную свободу в творчестве.

— Я верил, что они поддерживают нас искренне, сознательно.

— И продолжаете верить?

Патиашвили задумался.

— Сегодня все они отвернулись от меня, от того, что они поддерживали. Даже те, кому мы доверили ответственные посты, критикуют нас яростнее других. В их числе писатели, поэты, деятели искусств. Что это? Прозрение?.. Не сказал бы, что они всего лишь годом раньше были столь слепы. Так что же это?

— Это то, чем больна сегодня наша интеллигенция. Не вся, конечно.

Трагедия 9 апреля потрясла весь грузинский народ. Мы поняли, что нашу жизнь деформировало не только насилие, но ее извращали мы сами своим приспособленчеством к неосознанным до конца концепциям. Но прошел год после этого потрясения, и конформизм, вроде притаившейся раковой опухоли, вновь дает знать о себе в нашем обществе. «Мы, пятеро народных депутатов СССР, — рассказал известный публицист Егор Яковлев, — приехали в Тбилиси сразу же после трагических событий 9 апреля 1989 года, когда были избиты и убиты участники митинга на площади Ленина. Город траура и кривоточащей раны, поруганной свободы и всенародного гнева. В скорбной толпе горожан протискивались по тесным лестницам хрущевских пятиэтажек, желая проститься с теми, кто стал жертвами армейского разбоя. Убогая квартира. Гроб на столе. В нем шестнадцатилетняя девушка. Красавица на фотографии, и ужасное темно-лиловое лицо в гробу. Солдат сбил ее с ног дубинкой и наступил сапогом на горло... Не стану рассказывать, что было со мной... Но и писатель Борис Васильев — прошел всю войну, видел множество смертей — не



смог сдержать слез. Гельман — писатель, драматург, публицист — оставался спокоен, напряжен и сосредоточен, стремясь запомнить все, что увидел, услышал, узнал. Каждый из нас хотел написать правду о Тбилиси».

Через полгода Гельман создал публицистический фильм о 9 апреля, подобный которому не создавали ни грузинские, ни другие кинематографисты — сильнейший, глубочайший по мысли, по обобщению. «Репетиция» — называется эта потрясающая полуторачасовая видеолента. Фильм принят Госкино СССР — его не могли не принять! — но показать в кинотеатрах или по Центральному телевидению не хотят. Два месяца назад эту кассету мне прислали из «Видеоцентра», мол, постарайтесь показать хотя бы в Грузии. Но и у меня ничего не вышло: новый председатель Гостелерадио нашей республики не хочет идти наперекор позиции Центрального телевидения! Таких примеров сегодня не меньше, к нашему несчастью, чем было до трагедии.

Профессор А. Собчак в одном из интервью в журнале «Огонек» (№ 2, 1990 г.), размышляя о взаимоотношениях власти и общества на примере Грузии, говорит: «Мы беседовали с представителями самых разных слоев населения, и никто доброго слова не сказал о своем руководстве. Все отзывались о представителях власти как о людях нечестных, не имеющих права занимать соответствующий пост, людях, не способных руководить республикой, не выражающих интересы своего народа, проводниках «политики Москвы», несамостоятельных в своих действиях».

Я уверен: это слишком упрощенный, дезориентирующий общественность взгляд на важную проблему. Основой дефицита власти в Грузии является вовсе не непригодность отдельных руководителей, а действующая система формирования этой власти, не отстаивающей с одной стороны интересы родного народа, с другой — верноподанно выполняющей политику центра.

Передо мной сидел типичный представитель такого руководства, правда, уже отставной. А где остальные?

— Я знаю, вы меня не пощадите. Но вы единственная инстанция, которой я доверяю, — сказал он неожиданно для меня и горько задумался.

### ВЛАДЕЛЕЦ «КОЛХСКОГО ЗАМКА»

Этот дом в старом и тихом квартале Тбилиси — Вере известен многим: на массивной кирпичной стене рядом с же-



лезными воротами мраморная дощечка «Колхский замок Константи́на Гамсахурдиа». Здесь жил, а ныне покоится в небольшом саду этот один из самых почитаемых писателей Грузии, автор известных исторических романов.

Сегодня в «Колхском замке» живет его сын — Звиад Гамсахурдиа.

Адрес этого дома, кроме любителей литературы, известен и работникам правоохранительных органов.

Утром 9 апреля, мотаясь по городу, опустошенный после увиденного на растоптанном солдатами проспекте Руставели, в больницах и морге, я поднялся сюда. Не знаю, какая сила повлекла меня к «Колхскому замку». Только я вышел из машины, в открытом окне второго этажа показалась жена Звиада. Лицо ее было встревожено.

— Скорее уходите, здесь сотрудники КГБ. Звиада уведут, — крикнула она и тотчас скрылась.

Я уехал. Через час она пришла на митинг, стихийно возникший во дворе Тбилисского университета, и сказала, что ее муж арестован. В тот же день задержали остальных лидеров «неформалов».

Звиад Гамсахурдиа вместе со своим единомышленником Мерабом Костава был первым, кто ударил в колокол национально-освободительного движения задолго до начала перестройки. У нас с полным основанием говорят, что их призывный набат разбудил национальное самосознание грузинского народа.

Что представляет собой это движение на сегодняшний день?

Всего лишь полгода назад я считал, что национально-освободительное движение, как четко определившийся процесс, в Грузии пока не сформировалось. Сегодня так не скажешь. Оппозиция в республике становится мощнее, заметнее, наполняясь новым, более углубленным содержанием.

Мераб Костава и еще один из лидеров оппозиции Зураб Чавчавадзе недавно погибли в автокатастрофе. Их похороны вылились в широкую манифестацию. Молодежь по достоинству оценила их вклад в развитие национально-освободительного движения.

Это уже не спонтанное движение, на которое можно не обратить внимание, а движение, с которым надо считаться, оно приобретает организационные формы и представляет собой реальную силу. Однако официально оппозиционные партии все еще не признаны, продолжая оставаться так называемыми «не-



формалами». Как политическое формирование официально признан лишь Народный фронт Грузии, но его авторитет распространяется на весьма ограниченный слой населения.

Довольно сложным и неоднозначным представляется положение Народного фронта. Как ни парадоксально, но и сила, и слабость его именно в массовости. Факт включения масс в национально-освободительное движение имеет большое значение, но качественная сторона его не определена окончательно. И надо признать, что на этом фоне выделяются другие лидеры «неформалов»: Ираклий Церетели, Георгий Чантурия, Ираклий Батиашвили, другие.

Один из них — Ираклий Какабадзе, председатель Ассоциации христианско-демократической молодежи Грузии. Его взгляд на национально-освободительное движение в принципе выражает позицию всей сегодняшней разнопартийной неформальной оппозиции — во всяком случае, мне так кажется.

— Сегодня, — считает Ираклий Какабадзе, — когда национально-освободительное движение глубоко пустило корни, идет по пути дальнейшего развития, перед грузинским народом со всей актуальностью и остротой встает вопрос: что мы должны делать завтра, по какому пути направить энергию? Уже несомненно, что главной целью нашей борьбы должно стать разрушение существующей командно-административной системы. Но разрушать ее надо не силовыми методами, а политическим путем. Мы должны создавать новые структуры, которые сменят отжившие и окажут реальную помощь и поддержку нашей позиции.

В значительной части нашего общества пока еще прочно бытует мнение, что в рамках существующей системы возможно добиться всего. Это — абсурд. Пока существует система, пока действует аппаратное право, будет существовать и империя. Поэтому нам необходима бескомпромиссная борьба именно с системой, а не с отдельными личностями. Именно с этих позиций оппозиционные политические партии считают, что политическое лицо Народного фронта Грузии, его действия явно способствуют укреплению действующего режима.

Очень остро стоят у нас сегодня и нравственные проблемы. Продолжавшаяся десятилетиями печально известная диктатура привела общество не только к экономическому и социальному краху, но деформировала и духовное развитие человека, а марксистская идеология, проповедовавшая все эти годы безверие и безбожье, сумела превратить большую часть общества в покорный суррогат.



спект Руставели заполнили почти 100 тысяч людей и начался митинг. В то же время перед Домом правительства объявили голодовку с требованием независимости несколько десятков членов партий и общества. Их число постоянно росло. Была послана коллективная телеграмма Джорджу Бушу, чтобы он поддержал наше требование. Наш план победил: акция прошла с единственным требованием — требованием независимости.

С таким же требованием были проведены Ираклием Цетели и Ираклием Батнашвили митинги в Кутаиси.

В последующие дни в городе оказалось парализовано движение транспорта, начались митинги и шествия, заработал наш забастовочный комитет, который собирался в университете. Начались забастовки. С каждым днем все большее число людей присоединялось к акции. К 8 апреля она достигла кульминации — закрылись вузы, школы, многие учреждения и производства.

7 апреля я приехал в Рустави, где филиал Общества св. Ильи Праведного намеревался провести митинг. Я подошел к моменту, когда у моста милиция собиралась арестовать участников митинга. Я воспрепятствовал этому и повел олонну к центральной площади города, перед горкомом партии. Здесь собралось несколько тысяч человек и состоялся первый митинг в Рустави. Затем началось многотысячное шествие по улицам. На проспекте Мира к нам присоединился Мераб Костава. Шествие закончилось объявлением голодовки и мирным митингом у кинотеатров. На другой день митингующие переместились в Тбилиси и присоединились к акции у Дома правительства. До 8 апреля в Доме правительства и в его дворе была сосредоточена милиция. В полдень 8 апреля начали вывозить милицию на машинах, что показалось нам недобрым знаком. Вдоль Дома правительства остались стоять несколько десятков милиционеров (которые, как потом мы узнали, были заранее обезоружены). Тем временем знакомые работники органов известили меня о том, что в пригородный детский курорт Цхваричамия вошли крупные части внутренних войск, видимо, для разгона демонстрации. Я тогда не поверил в это и посчитал за очередной шантаж.

Ночью, приблизительно в три часа, на митинг пришел Илия II и просил митингующих разойтись, на что они ответили отказом. В это время представители власти попросили меня пройти под своды Дома правительства, где начальник милиции города Р. Гвенцадзе меня известил: «войска и военная



техника уже прибыли на площадь, и, если в течение 15 минут я не распушу митинг, то случится трагедия». Я ответил, что роспуск митинга зависит не от меня одного, необходимо посоветоваться, на что потребуется хотя бы час или два. Попросил подождать до утра. Однако они все же настаивали на своем — сейчас же распусти, осталось всего несколько минут. Кроме того, я заявил, что в случае, если Горбачев допустит это, он окончательно подорвет свой авторитет перед всем миром. На мой отказ одно из должностных лиц пригрозило: дом твой взорвут вместе с женой и детьми и тебя разгромят.

Как только я вышел к митингующим, раздались голоса «войско идет», и я увидел первую колонну бронетранспортеров, за которой следовали отряды со щитами и дубинками в руках. Начались смятение и беспорядок. Люди образовали коридор, и бронетранспортеры прошли. А отряды беспощадно набросились на митингующих с дубинками, ручными лопатками и газовыми баллонами. Было ясно, что целью их являлись не разгон демонстрации, а наказание и окружение демонстрантов. Вскоре для меня стала ясна цель этого окружения: они прижимали людей к колоннам Дома правительства, поскольку хотели создать иллюзию того, будто народ ворвался в Дом правительства и захотел взять его штурмом. После этого была бы более правомочной расправа над людьми. Этой цели они не достигли, поскольку на верхних ступеньках лестницы Дома правительства стояла грузинская милиция, открывшая коридор для людей в направлении первой средней школы, к памятнику Илье и Акакию.

После первого удара народ бросился к трибуне и мы оказались в центре. Раздались возгласы: «голодающие, садитесь, сидящих не тронут». Я понял, что это было бессмысленным призывом, поскольку для озверевших солдат, напротив, была более удобной расправа с сидящими голодающими. Тут же я крикнул: «не садитесь, встаньте! Образуйте коридор и выведите голодающих». С помощью милиции в самом деле образовали коридор и вывели многих голодающих, пока военные не захватили нас в такое кольцо, что никто не мог сдвинуться с места. Между тем со стороны солдат усилились обстрел газовыми ракетами и опрыскивание баллонами. Одна из ракет разорвалась прямо возле меня, не забуду ее страшный запах. Одновременно меня поразило, что ни на одном лице я не видел слез, не шли слезы из глаз и у меня (а вначале мы подумали, что это был слезоточивый газ). Постепенно почув-



становал, что теряю сознание, почти потерял его. В это время незнакомые мне молодые люди, освобождая путь, перенесли меня на руках к Кашветской церкви, затем посадили в машину и вывезли к площади Руставели. Я постепенно пришел в себя и возле филармонии присоединился к народу. Туда же пришел Мераб Костава, которого тоже кто-то спас. Мы поднялись к университету, где провели митинг и призвали население к национальному неповиновению. Время от времени поступали слухи об убитых и раненых. До утра мы ходили по улицам, потом подошли к Академии художеств. В семь часов я вернулся домой. В девять утра сотрудники КГБ и милиции без спроса ворвались ко мне во двор, разгромили двор, могилы моего отца, моей сестры и матери. Разбросали намогильные кресты, затем подошли к дому и начали выламывать дверь, желая создать иллюзию, что я не подчинился им. Особенно активничали Н. Лавренташвили и Б. Цинцадзе. Я спокойно вышел и пошел с ними. Повезли меня в машине, ругали последними словами, ругали моего отца, плевали в меня, говорили, что я погубил столько людей, предлагали оружие для самоубийства.

Во дворе ортачальской тюрьмы стояли войска. Арестовавшие меня обратились к солдатам: «это и есть главный негодяй Гамсахурдиа, бейте его, стреляйте!». Солдаты с дубинками и щитами не двинулись с места. Затем чекисты начали бить меня ногами, но работники тюрьмы спасли меня. Ввели в здание и бросили в камеру, по соседству с камерой для смертников, видимо, для устрашения. Вместе со мной арестовали Мераба Костава, Георгия Чантурия. И. Церетели арестовали позже.

Против нас возбудили уголовное дело за организацию демонстрации и митингов 4—9 апреля, продлившееся до 26 февраля 1990 года.

Как известно, 25 февраля в Москву прибыл с официальным визитом чехословацкий президент В. Гавел, известный правозащитник, который много лет провел в пражских тюрьмах. По прибытии он пригласил меня в чехословацкое посольство. Узнав, что уголовное дело мое до сих пор длится и я нахожусь под домашним арестом, он заявил официальный протест МИД СССР. Прокуратура Грузинской ССР в тот же день закрыла дело, оформив это задним числом — 5 февраля, дабы не связывать это с визитом В. Гавела.

Хочу заявить, что зарубежная пресса в ряде случаев искажала смысл 9 апреля, когда пыталась представить все, как



силы, противодействующие «перестройке», и принести извинения Горбачеву. Вместе с тем московский независимый журнал «Гласность» (№№ 24—25, май-июнь, 1989 г., на английском языке) справедливо отмечает, что части специального назначения внутренних войск или «спецназы», разогнавшие митинг 9 апреля, подчиняются только Генеральному секретарю, который является главнокомандующим, а не кому-то другому. Миф о «шокированном» добром Горбачеве, который ничего не знал, может убедить в этом разве что детей. Наряду с этим та же «Гласность» (только ее русское издание) напечатала ложь, будто вместе с четырьмя лидерами арестовали З. Чавчавадзе и Т. Чхеидзе. Со всей ответственностью должен заявить, что они ни на один час не были задержаны, и эту ложную информацию «Гласности» они предоставили сами.

Во время пребывания под арестом у меня обнаружили признаки газового отравления — жжение в глотке, асфиксия, непрекращающийся кашель, опухание конечностей, скачки давления, ишемия сердца. Меня поразило то обстоятельство, что врачи Международного Красного Креста, посетившие и беседовавшие со мной, не обратили внимание на эти симптомы и не осмотрели меня. МВД и администрация тюрьмы категорически были против моего перевода в республиканскую больницу. Потом предложили свою санитарную часть, где условия были хуже тюремных. Я отказался от лечения там.

Здесь же отмечу, что отравление газом для меня было не впервые. В 1970 году КГБ применял токсичные газы. Только индивидуально. В отношении отдельных диссидентов, чей арест и высылка были нежелательны. Так, отравляющие газы и химические отравляющие вещества — в отношении московского писателя В. Войновича, ленинградского художника Жарких, отдельных еврейских активистов (над этим вопросом специально работал еврейский физик Азбель), 23 сентября 1975 года в моей машине, в доме и во дворе, разлили неизвестные химические вещества, которые вызвали отравления у меня и моей жены и гибель живности в нашем дворе.

Симптомы эти очень походили на симптомы отравлений 9 апреля: асфиксия, высокое давление, тахикардия, признаки интоксикации при анализе крови. Так что «перестройка» и «ускорение» сделали массовым то, что в «застойный период» применяли в отношении отдельных людей. 19 мая, после 40 дней заключения, по требованию народа и перед страхом всеобщей забастовки нас выпустили на поруки. Мне было трудно ходить. Со дня выхода меня начали лечить немецкие



врачи. К 26 мая почувствовал себя лучше и принял участие в митинге, хотя потом вновь стало плохо — и меня доставили домой.

Сейчас не буду детально говорить об этапах национального движения, которые предшествовали 9 апреля, и коснусь той грязной кампании, которая ведется в советской прессе против грузинского народа в связи с апрельской трагедией. Об этом много написано, но все же хочу выразить свою позицию.

13 декабря прошлого года в газете «Советская Россия» было опубликовано интервью заместителя Главного военного прокурора СССР В. Васильева «Следствием установлено», которое своим цинизмом справедливо возмутило грузинскую общественность.

Каждое второе слово в этом интервью является ложью. Но я все-таки выделю основную фальшь:

1) Заместитель прокурора доказывает, будто наш митинг преследовал целью свержение власти силой, и с нашей стороны раздавались соответствующие призывы. В ответ на это надо сказать, что история не помнит ни в одной стране свержение до зубов вооруженного режима посредством голодающих, которые не имели в руках ничего, кроме зажженных свечей. К тому же 9 апреля было пятым днем голодовки и большинство из них было настолько ослабленными, что на ногах не держались. Что касается остальных людей, которые окружали голодающих, то они были совершенно безоружными. После разгона на площади не нашли ни одного холодного или огнестрельного оружия и ни у кого не отобрали такового — кроме ручных сумок, нот, книг и обуви на площади ничего не нашли. А такими предметами не свергнешь могущество советской империи. За пять дней митинга не было ни одной попытки прорваться под своды Дома правительства. Голодающие и митингующие не переходили за лестницу. Это может подтвердить каждый милиционер, который там стоял.

2) Ложью является и то, будто были лозунги о введении войск НАТО. Ни на одной видеопленке, ни на одном фотоснимке это не запечатлено.

3) Ложью является утверждение, будто мы имели лозунги с требованием об отмене автономии Абхазии и так называемой Южной Осетии. Такого не было запечатлено ни на одной пленке, ни на одной фотографии. Как было отмечено, мы с самого же начала пресекли всякие попытки провокаторов в этом направлении.



Верхом бесстыдства и цинизма является утверждение, будто ни один человек не погиб вследствие газового отравления и ран, нанесенных ручной лопаткой, будто никто не был отравлен и все симптомы у попавших в больницу были результатом «психоза» и «самовнушения».

Истории болезней, заключения судебно-медицинской экспертизы опровергают все это. С этой целью представителями КГБ и военной прокуратуры применялся шантаж по отношению к отравленным, угрожали и угрожают также врачам, требуют передавать им истории болезней (например, из поликлиники IV управления, якобы «для следствия», в чем им категорически было отказано, им передали только ксерокопии). Угрожают главному патанатому республики профессору Т. Деканосидзе, требуют от нее отказаться от своих заключений, судя по которым 12 человек погибли в результате непосредственного отравления газом.

Видя наши требования в Грузии о приглашении экспертов ООН, КГБ сочинил прокламации и распространил их 14—15 декабря прошлого года на съезде народных депутатов СССР, в которых утверждается, что «эксперты» ООН Н. А. Лошадкин и А. Д. Горбовский будто подтвердили, что на телах погибших 9 апреля не оказалось ни одной рубленой и колотой раны, не было избитого; огнестрельное оружие, из которого стреляли по мирному населению, было не военного типа, что «эксперты категорически отрицают применение химических веществ».

Привлекает внимание то обстоятельство, что не называют ни одного зарубежного эксперта; что все советские сотрудники являются агентами КГБ — аксиома для каждого. Так что лиса и на этот раз привела в свидетели свой собственный хвост. Упомянутый Васильев дошел до того, что обвинил население в отравлении газами помещения первой средней школы и театрального института. С этой же целью посылают в Тбилиси провокаторов-торговцев газовыми баллонами с тем, чтобы обвинить национальное движение в применении газа 9 апреля.

Вследствие всего этого, поскольку союзное правительство, КГБ и военная прокуратура ступили на недостойный путь сокрытия, поскольку они искажают все обстоятельства, связанные с трагедией 9 апреля, цинично обвиняют митингующих в убийстве друг друга, распространяют сплетни, будто отравляющими веществами владели сами неформалы, из-за чего бы-



ли арестованы агенты КГБ в Эстонии и Тбилиси, которые почему-то везли неформалам газовые баллоны «Си-Эс», мы, представители грузинского национального движения, видим выход только в следующем:

в Грузии должны начаться массовые акции протеста против постыдной позиции Кремля в связи с трагедией 9 апреля. Участники митингов 9 апреля должны внести в Верховный суд СССР иск в отношении представителей военной прокуратуры СССР, в первую очередь в отношении В. Васильева, такие же иски мы должны внести в отношении газет «Красная звезда», «Советская Россия», «Ленинское знамя». В то же время необходимо срочно обратиться в международный суд, пригласить комиссию международных экспертов, чтобы защитить грузинскую нацию, грузинское национальное движение от насильников и лжецов.

До сегодняшнего дня события 9 апреля определялись как трагедия, несчастье нации. Сегодня все, что произошло между 9 апреля 1989 года и 9 апреля 1990 года, дает нам право заявить, что эта дата к тому же огромная духовная победа нашего движения и грузинской нации. Более того, это начало новой национальной и демократической революции, которая продолжается. После 9 апреля произошел перелом в национальном сознании нашего народа. Нация поверила в идею независимости, объединилась вокруг нее. Нация поверила в свои собственные силы, в силу лидеров и силу движения. И не только нация — частично перестроился и сам коммунистический бюрократический аппарат. Вместо марксистско-интернационалистической идеологии он признал национальную идеологию, признал идеи нашего движения. Сегодня коммунистические руководители (хотя я не думаю, что сегодня в Грузии здравомыслящий человек верил бы в коммунистическую идею) стремятся поддержать национальное движение, отказываются баллотироваться в депутаты, собственноручно разрушают памятники Ленину, видя, что другого пути у них нет. Недавно дезинформированный грузинский эмигрант М. Кавтарадзе написал, что 400 тысяч коммунистов Грузии имеют родственников и невозможно противостоять такому количеству людей. Если бы этот эмигрант имел какое-то представление о сегодняшней Грузии, а не питался ложной информацией агентов советской разведки, то он бы знал, что в сегодняшней Грузии нет ни одного идейного коммуниста, что компартия существует лишь номинально, партбилет называют в шутку



хлебной карточкой, и об этом знают все коммунисты и их родственники.

После 9 апреля неузнаваемо изменились пресса, радио, частично — и телевидение. Коммунистическое руководство уже не смеет использовать средства массовой информации против национального движения. Оно также прекратило преступную антинациональную кампанию, дискредитацию лидеров и др. Национальное движение все больше овладевает средствами массовой информации, все больше побеждает национальная и религиозная тематика. Сегодня мы идем к свободе мысли, слова, религии, к реальному утверждению плюрализма в политической жизни. Вот что принесло 9 апреля сегодняшней Грузии. 9 апреля подготовило беспрецедентный праздник 26 мая во всей Грузии, беспрецедентную акцию бойкота воинской службы, самороспуск комсомола, ликвидацию строительства крупных ГЭС, бойкот выборов, крушение идолов-антихристов во всей Грузии.

Правда, 9 апреля принесло и кризисы в Абхазии, Южной Картли и т. н. Юго-Осетии, но мы уже на пути преодоления этих кризисов. Хотя появляются новые кризисы: биологическая война с завозом зараженного мяса из Чернобыля, нашествием т. н. турков-месхетинцев, волнениями в Джавахетии, попытками заселения различными беженцами.

А что принесло 9 апреля миру?

Человечество потрясла пролитая на тбилисских улицах кровь. Мировая общественность осудила палачей времени «перестройки». Влиятельные зарубежные друзья сообщили мне: после 9 апреля и трагедии в Китае во всем мире настолько усилилось движение протеста против всякого вида насилия, что правительство Горбачева уже не могло применить силу в Восточной Европе, что способствует процессам, происходящим в этих странах. А теперь к этим процессам, как мы видим, присоединилась и Литва. Вот что принесло 9 апреля миру. «Вновь страдал ради ближнего удивительный этот народ» — здесь Илья подсознательно предвидел и будущее своего народа.

«Иже во всем мире мученик твоих, яко багряницею и виссон, кровьюми церковь твоя украсившися, теми вопиет ти, Христе Боже: людям твоим щедроты твоя низпосли, мир жительству твоему даруй, и душам нашим велию милость» — глаголет антифон литургии воскресенья. Багряница и виссон



— одеяние царского величия. Кровь мучеников 9 апреля одела в царское величие наш народ, возвеличила и придала блеск ему перед нациями мира.

«Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет» (Иоан. I, 43—44).

Грузины, с нами святой Георгий.  
С нами Бог.

Звиад Гамсахурдиа.

27 марта 1990 г.

Ознакомившись с этим документом, надеюсь, читатель сам сумеет во всем разобраться и сделать соответствующие выводы.

Окончание следует



Захарий ЧХИКВАДЗЕ

## Воспоминания о П. И. Чайковском

\* \* \*

Грузинский оригинал предлагаемого перевода «Воспоминаний о П. И. Чайковском», принадлежащих З. И. Чхиквадзе, был опубликован в журнале «Театр и искусство» в №№ 2, 8, 11, 12 за 1915 год. Автор «Воспоминаний» Захарий Иванович Чхиквадзе (1862 — 1920) — известный грузинский музыкант-фольклорист, педагог и капельмейстер, активный общественный деятель, чье имя тесно связано со многими благородными начинаниями в области грузинской культуры. Выпускник Тифлисской семинарии, получивший хорошую подготовку по хоровому пению и теории музыки, он преподавал пение и грузинскую литературу в учебных заведениях Грузии, собирал, записывал грузинские народные песни и песнопения (зафиксировано около 200 образцов). Автор духовных концертов и сборника народных песен «Саламури», З. Чхиквадзе являлся членом-учредителем Грузинского филармонического общества (1905 г.). С 1906 г. он активно работает в Историко-этнографическом обществе, в Товариществе по постановке опер на грузинском языке и в Обществе по распространению грамотности среди грузин.

З. И. Чхиквадзе — одна из интереснейших фигур авангарда грузинской интеллигенции, которая на рубеже веков все свои силы направляла на осуществление идейной программы И. Чавчавадзе. Кроме того, Чхиквадзе — один из немногих в своей среде, кто общался с П. И. Чайковским в один из его приездов в Грузию. Их встреча состоялась в 1890 году. А спустя 25 лет



Чхиквадзе, очевидно, прекрасно сознавая важность этого события не только для себя лично, но и для истории культуры Грузии, пишет свои «Воспоминания». При этом документально фиксируется не просто сам факт имевшего место общения с выдающейся творческой личностью. Хорошо зная стилистику эпистолярного наследия Чайковского, трудно усомниться в точности передачи его речи и высказываний. Воспоминания Чхиквадзе с расстояния почти в сто лет, прошедших со дня смерти Чайковского, — не просто живая иллюстрация одного из эпизодов пребывания композитора в Грузии.

Проникнутые живостью первоначального восторженного восприятия происходящего, «Воспоминания» воссоздают не только творческие и гражданские настроения двух собеседников. Опосредованно отражая историческую картину общественной жизни Грузии той поры, они вскрывают прогрессивный характер позиций представителей двух культур.

Как известно, в то время прогрессивная грузинская интеллигенция боролась против попыток прямой дискредитации национальной музыкальной культуры, предпринимаемой царизмом на всем протяжении XIX века и особенно участвовавших в период реакции 80-х годов, что выразилось в притеснении всей грузинской культуры. Доходило до того, что запрещалось пользоваться национальными инструментами и исполнять народные песни публично. Притеснениям подвергалась также профессиональная сфера национальной культуры. То же положение отмечалось и в сфере просвещения. Приспешники царизма, официальные почитатели просвещения прилагали все усилия для изгнания грузинской народной песни из учебных заведений. Весьма неблагоприятную роль в этом сыграл экзарх Павел, категорически отменивший исполнение грузинских песнопений в грузинских церквях и заменивший их русскими. (Из писем и дневников Чайковского 80-х гг. явствует, что в поисках возможности ознакомления с грузинским культовым многоголосием он не раз посещал церкви Грузии, фиксируя и пышное пасхальное богослужение в Сионском соборе на русском языке, и своеобразие и необычность музыкального оформления службы в армянской церкви — национальное культовое пение. Но только в пятый свой приезд в Грузию композитору удастся наконец получить с помощью З. Чхиквадзе нужную информацию и представление о грузинских песнопениях).

Но политика принижения грузинской музыкальной культуры до уровня «варварской и примитивной» постоянно наталкивалась на упорное противодействие, оказываемое не только грузинской



интеллигенцией, но и представителями передовой России. Вряд ли возможно по-другому расценивать активную общественно-музыкальную и исследовательскую деятельность М. Ипполитова-Иванова, который в течение 10 лет (1883—1893) прилагал немало усилий для внедрения профессионального музыкального образования в Грузии. Ему же принадлежат одни из первых записей грузинских народных песен и песнопений. В том же ряду оказываются и П. Чайковский, и А. Рубинштейн, контакты которых с Грузией, несмотря на их эпизодичность, имели не меньшее значение для формирующейся профессиональной грузинской музыкальной школы и, кстати, для творческой деятельности обоих композиторов также.

Нигилистическое отношение к грузинской музыке и в целом к грузинской культуре, насаждаемое царизмом, естественно, порождало ложные взгляды на нее. Отсутствие знаний о предмете, о котором брались судить все, кому не лень, закономерно вело к неправильным, ошибочным оценкам ее. Этому способствовала и пресса, публиковавшая на своих страницах подобного рода оценки: «В Грузии монотонная песня создает такую дисгармонию, которую может вынести только азиатское ухо» («Обзорение Российских владений за Кавказом». СПб, 1836), или же: «Грузинское церковное пение близко русскому хоровому, поскольку они (грузины) заимствовали его от русского, начиная с XVIII века, с момента общений грузинского двора с нашим», или: «Две или три одинаковые ноты — вот все, что вы можете услышать в местных народных напевах... а о гармоничном соотношении звуков излишне и говорить». В других случаях авторы публикаций вообще ставят под сомнение, имеет ли Грузия собственную музыку, указывая, что она пользуется достижениями персидской музыки («Новое обозрение», 1897, № 7616).

И как полярно противоположно всему этому отношение представителей прогрессивной русской интеллигенции к грузинской музыкальной культуре! Большой интерес к ней проявляет побывавший в Грузии в 1893 году русский драматург А. Н. Островский. Как вспоминает М. Ипполитов-Иванов, по вечерам, когда собирались гости, Александр Николаевич не раз просил сыграть для него что-либо из записей грузинских народных песен и церковных песнопений. С какой-то трепетностью внимая этим звукам, он «каждый раз восторгался изысканностью художественной фантазии грузинского народа».

Не ограничиваясь словами, представители передовой России подтверждали свою позицию активным интересом и участи-



ем в грузинских музыкально-культурных вечерах, проводимых студентами-грузинами в Москве и Петербурге, где звучала грузинская поэзия, грузинские романсы и фрагменты из первых опер, а также народные песни и танцы. Вряд ли все это может быть воспринято иначе, как скрытая, но очевидная форма протеста прогрессивной России против колониальной политики царизма, ставящая тем самым ее представителей в один ряд с интеллигенцией Грузии, боровшейся за утверждение свободлюбивых идеалов. В этом деле весьма значительна роль Чайковского, хотя, возможно, по внешним своим проявлениям она и не бросается в глаза. Помимо высокой оценки грузинской народной традиции, высказанной им в беседе с Чхиквадзе, известны случаи, когда композитор активно хлопотал о творческой карьере талантливых грузинских музыкантов. Кроме того, свою роль в строительстве здания нового оперного театра в Тбилиси сыграло и письмо Чайковского, адресованное на имя государя. В нем подчеркивается отношение ходатая к культурно-музыкальной общественности Грузии того времени, заботы которой он считает необходимым разделить как честный человек и музыкант. Прося о вмешательстве высочайшей особы в застопорившееся дело и о выделении необходимой суммы для успешного его завершения, Чайковский пишет: «Существующий в Тифлисе летний, деревянный, маленький и в высшей степени неудобный и на случай пожара опасный театр совершенно не соответствует достоинству такого прекрасного города как Тифлис, а между тем тифлисская публика, усердно посещающая театр и явно выказывающая тонкую художественную восприимчивость, заслуживает того, чтобы оперные и драматические представления давались на большой и хорошо устроенной сцене».

Волею обстоятельств именно в период наездов Чайковского в Грузию, он получает соблазнительное предложение от Ж. Детруайа и Л. Галле, известных литераторов и либреттистов ряда французских опер, «людей влиятельных в прессе и Орега», написать оперу под названием «Грузинка» (либретто Детруайа). Однако ознакомившись с либретто и обнаружив ряд исторических бессмыслиц, Чайковский отказывается от предложения. Вероятно, не последнее место в этом решении сыграло и то, как либреттист объяснял композитору свою небрежность. Сообщая, что сюжет взят из рассказа «Любовь казака и грузинки», опубликованного в одном из французских журналов за 1828 год, Детруайа добавляет, что язык для воплощения авторской фабулы он заимствовал из романтической эпопеи Ф. Шатобриана об американ-



ских (канадских) индейцах, объясняя это тем, что, по его мнению, «чувства и романтический характер жителей Грузии должны быть подобны чувству и характеру жителей Джорджии в Америке, или весьма аналогичны этим последним» («П. И. Чайковский и зарубежные музыканты», Л., 1979 — письмо Ж. Детруайа от 3.6.1888). Такого Чайковский не мог ни принять, ни простить. Особенно если вспомнить, что именно ему принадлежат слова: «Никто не может безнаказанно прикоснуться святотатственной рукой к такой художественной святыне, как русская народная песня, если он не чувствует себя к тому вполне готовым и достойным». Будучи таким требовательным к себе и другим в области родной русской традиции, Чайковский, не имея глубоких знаний и уверенности в области грузинской традиции, естественно, не мог откликнуться на предложение французского литератора. Это привело бы к псевдостоилистике, недопустимой для композитора, всегда с уважением относившегося к культуре любого народа, с которой ему доводилось вступать в контакт.

Не случайно, впервые приехав в Тбилиси, Чайковский тут же начинает штудировать «Историю Кавказа», как свидетельствует дневниковая запись от 3.6.1886 г. Тот же пыливый интерес к культуре грузинского народа делает его обладателем рукописного сборника шести обработок грузинских народных песен для голоса и фортепиано и двух лезгинок, принадлежавшего М. Иполитову-Иванову, об издании которого он начинает хлопотать.

Можно представить, как был рад Чайковский возможности получить необходимую и давно желанную информацию об интересующем его предмете из рук музыканта-грузина. Кто знает, если бы судьбе было угодно продлить этот контакт с З. Чхиквадзе или другими представителями формирующейся профессиональной грузинской музыкальной школы (ведь и М. Баланчивадзе, и З. Палиашвили уже были достаточно компетентными музыкантами и знатоками народной грузинской музыки), во что бы он мог вылиться, учитывая несомненный интерес Чайковского к грузинской музыкальной традиции.

Столь пространное введение к «Воспоминаниям» З. Чхиквадзе, впервые публикующимся на русском языке, думается, позволит читателю глубже вникнуть в содержание их беседы, затрагивающей среди других вопрос о самобытности национальных культур и моральных основах отношения к ним. Более того, можно еще раз убедиться в неразрывности связи времен, выразившейся в подходе к непреходящим ценностям нравственного порядка.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКОВ





Весьма памятен для меня 1890 год. Во-первых, в этом году в январе месяце меня совершенно неожиданно, и без моей просьбы, перевели по службе в Тифлис, где и определили на более хорошее место. Но это ничто в сравнении с тем, о чем и хотел бы ниже поведать читателю. Хотя с тех пор минуло уже 25 лет, но я и сейчас живо ощущаю те радостные и бесконечно дорогие минуты, которые мне довелось пережить. Свежа память о том времени, когда мне было даровано судьбой счастье личного знакомства с ныне покойным, русским, нет, всемирно известным композитором, гениальным музыкантом, маэстро Петром Ильичом Чайковским. Возможно, кто-нибудь усмехнется — велика важность, он был знаком с русским композитором?! Однако вряд ли это будет справедливо. Ведь музыка и ее служители принадлежат всему человечеству. Поле деятельности их велико, и сужение рамок здесь недопустимо. Каждый национальный композитор поначалу собирает, записывает, аранжирует народные мелодии и на этой основе уже создает затем свою собственную музыку. Истинно же великий композитор, развивая свой талант, расширяя свои возможности, выходит на бесконечно долгую и благодатную дорогу творчества, создает серьезные музыкальные сочинения — квартеты, квинтеты, сюиты, оперы, симфонии... И тогда он становится принадлежностью всего человечества.

Кто не восторгался, услаждая слух прекрасными созвучиями, и кого не уносило воображение в бескрайние просторы вселенной при звучании симфоний Бетховена, великого Моцарта, Гайдна и великолепной музыки Баха, Глюка, Вагнера, Верди и других?! И разве всех их, великих служителей музыки, можно считать принадлежащими лишь одному народу?! Вот как раз к разряду таких бессмертных и относится ныне покойный П. Чайковский. И общение с ним для меня, заурядного человека, незабываемо.

А случилось это вскоре после моего переезда в Тифлис. Там я стал членом Охотничьего общества. Председателем его был родной брат композитора — Анатолий Ильич Чайковский, занимавший тогда пост вице-губернатора нашего города. Однажды в Гартискари, после охоты, мы обедали там же, в лесу. С нами был и Анатолий Ильич. Во время общей беседы он вдруг указал, что его брат — композитор очень хотел бы познакомиться с кем-нибудь из тех, кто располагает ка-



кими-нибудь записями грузинской народной музыки. Тут же присутствовал наш директор училища, который указал на меня — вот, мол, он собирает народные песни и делает их нотные записи.

Как только Анатолий Ильич услышал об этом, то сразу же попросил:

— Если сможете, повидайте, пожалуйста, моего брата и принесите ему ваши записи.

Я ответил: — Почту за честь познакомиться с вашим братом.

— Завтра его не будет дома, а послезавтра вечером обязательно приходите. Мой брат будет ждать вас, — сказал мне Анатолий Ильич. Он пригласил меня к девяти часам вечера.

В назначенный день задолго до условленного часа я пребывал в каком-то необычном состоянии: то радовался, как ребенок, то говорил себе — куда мне с моими знаниями до знакомства и общения с таким великим человеком? Одним словом, я целый день, как обычно, был занят делами и, не зная отдыха, давал уроки. Но что это были за уроки?! После обеда я решил отдохнуть и выспаться. Однако из этой затеи ничего не вышло.

В восемь вечера, как ученик, идущий на экзамен, я еще раз просмотрел свои записи, похожие на каракули, сунул их под мышку и направился в Сололаки<sup>1</sup>. Чайковский остановился в доме персидского посла Мирза-Риза-хана на улице Гудовича<sup>2</sup>. Ну вот я и у входных дверей. Остановился. Позвонить? В этот миг я так разволновался, что едва не кинулся прочь от дома. Однако, набравшись смелости, дрожащей рукой все же позвонил. Швейцар отворил дверь и спросил:

— Кого угодно?

— Я... я хотел бы видеть композитора Петра Ильича Чайковского.

— Это невозможно. Мне приказано никого не принимать, кроме одного человека, которого ждут с минуты на минуту.

— Это, наверно, ждут меня, — сказал я.

— Я не могу впустить вас. Сегодня вечером должен прийти грузинский музыкант, и больше принимать никого не

---

<sup>1</sup> Район в Тбилиси.

<sup>2</sup> Ныне улица Чонкадзе.



велено. На который час вы приглашены? — спросил он меня.

— Позавчера Анатолий Ильич Чайковский пригласил меня к девяти часам. Вот, я и ноты принес, — ответствовал я.

После этого швейцар смилостивился и провел меня в гостиную.

Не прошло и двух минут, как вошел улыбающийся маэстро и тепло приветствовал меня:

— Ваш покорный слуга, Чайковский. — Такая простота обращения обескуражила меня, и я пролепетал:

— Это я ваш покорный слуга, боготворящий вас.

Как юный влюбленный, собирающийся открыть сердце, я вдруг оробел, наслаждаясь лицезрением его светлого лица, в то время как все вокруг окуталось туманом.

— Вы принесли ваши записи грузинских народных песен? — этот вопрос отрезвил меня, и я без слов протянул ему свою нотную тетрадь. Он взял и с интересом и вниманием стал просматривать ее, а затем сказал:

— Пожалуйста к роялю и сыграйте все, что вы изложили написать.

Итак, то, чего я так боялся, случилось.

— Нет, сударь! Разве я смею сыграть в вашем присутствии? Нет, маэстро, я не могу себе этого позволить.

— Грузины исторически люди мужественные и храбрые, так что вас так напугало? Мы же не будем с вами состязаться. Ваши записи вы сыграете лучше, чем кто-либо другой.

И взяв за плечи, он осторожно подвел меня к роялю. Сделав усилие над собой, я сел, но когда взглянул на клавиши, у меня потемнело в глазах, клавиши стали прыгать: белые перемешались с черными.

Подняв голову, я увидел, что Чайковский продолжает стоять надо мной.

— Я не могу сидеть, когда вы стоите рядом, — сказал я, вскакивая с места.

Тогда он сел рядом со мной и поставил на пюпитр мою нотную тетрадь. Немного успокоившись, я сыграл своими одеревеневшими пальцами несколько песен. Спустя некоторое время он встал и сказал:

— Я отойду подальше, а вы еще раз сначала до конца проиграйте все медленно.



Я остался наедине с роялем, и это сразу придало мне силы. Мне удалось исполнить его желание. Но что это было за исполнение?! Я был весь в поту, когда кончил играть и, встав, с трепетом попросил:

— Если вам удастся разобрать мои каракули, может быть, вы сыграете сами?

Петр Ильич согласился, исполнил несколько песен, потом внезапно оборвав свою игру, задумчиво произнес:

— Разве может исчезнуть с лица земли народ, имеющий такие замечательные многоголосые песни, какая простота и стройность формы и звучания, какое глубокое чувство?! — И с сомнением в голосе спросил: — Неужто эти песни в самом деле рождены в сердце простого народа, или они совсем недавно, под внешним воздействием современности, из одноголосых превратились в многоголосые?

— Нет, маэстро. В этом сборнике собраны древнейшие народные песни, из поколения в поколение передававшиеся устно и не записывавшиеся до самого последнего времени. А некоторые из песен, такие как «Вай, шен, чемо тэтро бато», «Окрос диэло», «Сацкалса глехса» и другие народ донес до нас со времен язычества, с третьего или второго тысячелетия до нашей эры, а может, с еще более раннего периода, — отвечал я.

Чайковский был поражен моим рассказом, он удивлялся, как простой крестьянин, лишенный света просвещения, мог создавать столь совершенное многоголосие.

— Разве после этого можно говорить, что этот народ лишен всякой культуры и таланта?! — произнес он в заключение.

— Что поделаешь, сударь, так обычно говорят, когда о прошлом и настоящем какой-либо нации толком ничего не знают. Когда же ищущий истину повторяет чужие слова, получается нечто невообразимое. Бывает, какая-то группа или частное лицо испытывают недобрые к нам чувства, и тогда они не упускают случая сказать о нас недоброе, если даже знают что-либо о нас хорошее.

При этих словах на лице Чайковского появилась улыбка, и он промолвил:

— Знаете, что я вам скажу? Народ, живущий в стране с благословенной Богом природой, не может не петь так сладко. В вашем краю все поет и улыбается — солнце, луна, звезды, птицы, животные, леса и поля. Живи здесь ис-



тинный служитель музыкального искусства, он смог бы написать множество опер — вокруг столько благодатного материала.

— Многоуважаемый маэстро, зачем же далеко ходить? Кто может сравниться с вами своим талантом и значимиями? Почему бы вам не посвятить несколько месяцев или год более близкому знакомству с грузинским народом, прислушаться к биению его сердца, прочувствовать его талант и написать ту же оперу?!

— Если мой брат пробудет здесь дольше или мне позволят обстоятельства, я хотел бы посетить все уголки Грузии и как следует изучить своеобразие и богатство ваших песен и песнопений, — ответил П. И. Чайковский. — Вот, что можно сделать из той небольшой части их, что вы мне показали и что осталось в моей памяти, — с этими словами он подошел к роялю и нежно прикоснулся к клавишам. Затем последовал ряд бравурных аккордов, и рояль точно охватило пламенем. Боже, какое потрясение я пережил, стоя у инструмента и внимая импровизации! Пытливо вслушиваясь в нее, я улавливал в волнах звуков обрывки родных мелодий. Полузакрыв глаза, маэстро играл, покачиваясь в такт. Затем прервал на миг свою фантазию, начал мягко и тихо играть мелодию песни «Тамар-меле», потом «Мумли мухаса», завершив все торжественной каденцией.

Боже! Я точно растворился в блаженстве. Внимая ему, я ощущал себя таким ничтожно малым, что, казалось, мог уместиться в ореховой скорлупе. Волосы мои встали дыбом, я был на грани безумия от восторга. Это удивительное состояние — ощущать себя рядом с великим человеком. Меня переполняло чувство гордости за свой народ.

Кончив играть, Чайковский встал, подошел ко мне, коснулся моего плеча и спросил:

— О чем задумались? Я не надоел вам своею игрой?

— О, что вы, сударь! Я не знаю, как благодарить вас за эти счастливейшие минуты, которые я пережил, слушая вас, — ответил я. — Не сочтите за дерзость, я прошу позволения коснуться губами ваших пальцев и чела, — добавил я.

— Ну, нет, этого я вам не позволю, но, в свою очередь, прошу, если можно, оставить мне ваш сборник. Я перепишу песни и верну его вам.

— О чем речь, сударь? Если я удостоился такой чести и мои каракули смогли вас заинтересовать, то я с большой



радостью оставлю вам эту тетрадь. У меня дома есть черновик, я перепишу его заново. Мне известна ваша занятость и то, что вы каждую минуту посвящаете сочинению музыки. И все же, вручая эту тетрадь, я осмелюсь просить вас выбрать время и написать сочинение, где будут использованы наши народные напевы.

Он принял мой сборник с большой благодарностью, пожал мне руку и сказал, что в течение ближайших месяцев будет очень занят, но потом с удовольствием выполнит мою просьбу.

Затем великий композитор перевел разговор на грузинские церковные песнопения и спросил, были ли они издревле трехголосными или стали таковыми в последнее время. Более двух часов длилась наша беседа об этом предмете, и, насколько мне позволило время, я постарался доказать и объяснить, сколь велика общность между нашими народными песнями и культовыми песнопениями. Я даже показал записанные в моей тетради песню «Диамбегис кали» и другие, родившиеся в монастырской практике и имеющие связь с церковными напевами. Достоинно удивления, с каким вниманием и интересом слушал он все то немногое, что я мог ему сообщить о нашей музыке.

Наша беседа длилась долго.

В конце концов П. И. Чайковский исчерпал все вопросы, что имел, а я, по возможности, удовлетворил его любознательность. В этом взаимно интересном общении время летело незаметно. Был уже первый час ночи, когда Петр Ильич сказал:

— Когда человек заинтересован чем-то, или же рассуждает, или пишет о своем любимом деле, он не думает о времени; оно перестает существовать для него, остается лишь дело и дело прежде всего!

Под конец нашей беседы я с большими извинениями еще раз попросил маэстро проиграть мне грузинские народные напевы в его блестящем переложении. Расставание было необычным. С часу ночи до половины третьего мы несколько раз прощались, но, то Петр Ильич задавал мне какой-то вопрос, то я вновь просил его импровизировать, используя наши народные песни. И мы ходили по гостиной — к дверям и обратно, вернее, кружили по комнате.

У входной двери он в последний раз пожал мне руку, поблагодарил за мои записи, после чего пригласил на симфо-



нический концерт и спектакль «Евгений Онегин», которыми должен был дирижировать.

С душевной болью покидал я маэстро, не желая расставаться с ним, какое счастье было лицезреть его красивое спокойное лицо. Однако не смея более задерживаться, я отправился домой, с одной стороны, радостный от всего того, что услышал, и, с другой, опечаленный, что все так быстро кончилось, и все же преисполненный огромной благодарности за этот вечер.

После этого я встречался с Петром Ильичом еще два или три раза (точно не могу сказать).

— Грузины должны приложить все усилия, чтобы познакомиться со своей народной музыкой весь просвещенный мир, дабы он узнал, что это такое. Может быть, с помощью профессиональных музыкантов Европы, если нам самим это не удастся, ваша оригинальная музыка сможет развиваться дальше, — говорил он мне при встрече.

Вскоре Петр Ильич Чайковский покинул Тифлис и, как известно, после этого долго не прожил. Короткой оказалась жизнь человека, чей щедрый и большой талант принес много пользы как своему народу, так и другим, и в том числе нашему. Не случись непоправимое, он, вероятно, создал бы что-то и на основе наших народных мелодий.

Куда делись те народные песни, которые он оставил у себя, до сегодняшнего дня не знаю, и у кого они могут быть сейчас, мне неизвестно.

Перевод Инги БАХТАДЗЕ и  
Надежды ДИМИТРИАДИ





Ирина ДЗУЦОВА

# МАСКАРОНЫ

В той обширной литературе, которая посвящена истории архитектуры Тбилиси, скульптурно-орнаментальный декор фасадов домов XIX — начала XX веков все еще не исследован. Сегодня, когда реставрация старых тбилисских домов приняла широкий, систематический и последовательный характер, стала очевидной необходимость более внимательного отношения к явлениям городской художественной культуры: к вывеске (давно исчезнувшей), стенной живописи, к металлическому декору (решетки балконов, оград, лестничных проемов и т. д.), а также к маскаронам.

Скульптурно-орнаментальный декор на фасадах старых домов — маскароны, возможно, и не отличаясь уникальной особенностью, составляют (и сегодня) неотъемлемую часть общего художественного облика Тбилиси. Время и обстоятельства не щадили их, будем же бережны к ним сегодня, потому что маскароны вносят своеобразие в архитектуру города и придают ему особый колорит.

Изобразительная система маскаронов состоит, в основном, из тем, взятых из греко-римских мифов, конечно, давно утративших свое первоначальное значение и смысл. Они уже звучат как отголоски традиций и древнегрузинского изобразительного искусства. В декоре храмов наряду с анималистическими или зооморфными значительное место занимают изображения человеческих фигур или только головы. Они производят впечатление монументальности и подчиняются системе архитектурного членения фасадов. Будучи трактованы обобщенно, име-



ют геометризованный абрис. За редким исключением маскароны даны в анфас, с крупным носом, с выпуклыми губами и глазами овальной формы, обведенными четкой линией. Выполнены высоким или низким рельефом. Детали отличаются декоративной стилизацией. Так, борода или волосы переданы в виде крупных или мелких спиралевидных завитков. Декоративность композиции определена общими очертаниями фигур, разработкой деталей орнамента и т. д.

Животные и звери, как, например, львы — в геральдических позах, павлины, выражающие символику общего раннехристианского источника, грифоны и орлы, воплощающие значение стражей-охранителей и солнечного божества, — или строго нератичны или представлены в движении. Это — изображения реалистические или гротескные, шаржированные.

Человеческие головы — излюбленный мотив в средневековой грузинской фасадной скульптуре храмов, истоки которого уходят в древнейшие времена и связаны с традицией масок. В романской скульптуре Западной Европы, в древней Руси и Армении мужские и женские лица-маски включены в систему оформления капителей и фасадов храмов.

Изображение животных и зверей особенно привилось на грузинской почве. В грузинских народных верованиях лев издавна воспринимался как символ силы и могущества, древо жизни — как символ изобилия, а виноградная лоза, почитаемая как древо жизни, считалась священным растением. Фасадные фигурные элементы в Грузии были связаны (хотя реальная связь, семантика их утрачены) с древнейшим поклонением божествам, с магическим искусством. Ведь религия в древней Грузии входила в обширный религиозный мир культуры народов Передней Азии и Средиземноморья.

Древние символы, которые со временем потеряли магическую функцию и превратились в устойчивую форму, знак, можно усмотреть и в маскаронах, сохранившихся до наших дней. Скульптурные украшения в виде человеческого лица или головы зверя, срезанные сзади и приставленные к основе-плоскости, составляют особую группу памятников художественного ремесла Тбилиси второй половины XIX — начала XX веков. Они являются отзвуками, реминисценцией художественных стилей, в первую очередь соотносимые с традицией итальянского Возрождения. До сегодняшнего дня в Тбилиси сохранились улицы, представляющие как бы целые ансамбли ренессансной, барочной, классицистической и ампирной архитектуры, нередко носящей оттенок провинциального щегольства. Кажется,



что на одной улице соприкоснулись далекие и близкие эпохи. Городская буржуазия, выбивавшаяся из «мещан во дворянство», стремилась выставить напоказ свое богатство, не отстать от Европы. И это особенно сказывалось в архитектуре и декоративном убранстве особняков: деревянные части дома украшали резьбой, ограды, решетки балконов отличались пышной орнаментировкой, стены покрывали живописью, а фасады — маскаронами и другими скульптурно-орнаментальными деталями. Часто тбилисские дома создавали впечатление имитации роскоши, в их общем художественном облике присутствовал элемент некоей театрализации интерьера и экстерьера. Здесь процветал эклектизм, но он давал возможность использовать любые формы (архитектурные или художественные) в любых стилевых сочетаниях. Вследствие демократизации жизни города, особняки уже менее впечатляют уникальностью архитектурно-художественного облика, отражая вкусы массового потребителя, который, стремясь самоутвердиться, создавал подражание роскоши аристократических особняков. Это становилось даже обязательным: культ роскоши, парадное величие. Благо, и промышленность позволяла обмануть впечатлением богатства и вкуса, производя дешевые строительные материалы и изделия из них.

Композиционно-пространственным центром особняка является парадный вход, лестничный марш, основным декором фасадов служат и маскароны. Они играют роль художественно-смысловых акцентов в декоративной системе фасадов и самостоятельного значения не имеют. Это всего лишь украшение. Осмотрев большое количество маскаронов (а они на сегодняшний день сохранились в различном состоянии, некоторые повреждены в результате поздних неграмотных и некачественных ремонтных работ), можно убедиться, что подавляющее большинство их — гипсовые отливки.

Тематика, сюжеты — самые разные, но часто один и тот же сюжет повторяется на фасадах одного или разных домов в пределах одной улицы и района. Аналогии, идентичность понятны. Мастера не могли бесконечно обновлять свои образы, не будучи профессионалами (хотя и не всегда они были простыми ремесленниками, исполнителями). Аналогии можно объяснить и вкусом заказчиков, а также и тем, что маскароны создавали одни и те же мастера, у которых были свои приемы работы, композиционные принципы и общие иконографические схемы.

Маскароны связаны с архитектоникой фасадов, масшта-



бом дома и поэтому делались больших и малых размеров (хотя часто соотношение и пропорции не соблюдались). Небольшие по своим размерам воспринимаются как детали общего орнамента фасада, а большие — выделяются из общего декора дома. Иногда маскароны помещены на гладкой поверхности стены, плоском фоне и тогда изображение выступает по отношению к нему в виде объемного выпуклого блока, приставленного к стене.

Скульптурно-декоративная пластика фасадов старых тбилисских домов преимущественно отражает тему победного торжества: маскароны составляют как бы единую знаковую систему, являя собой устойчивые художественные стереотипы. Обогащая архитектуру фасадов, они интересны не только как важные элементы декора, но и в иконографическом отношении. Маскароны изображают человеческие лица (мужские, женские, детские, молодые и старческие), среди которых есть прямые копии античных голов и театральные маски. Человеческие лица часто индивидуализированные, живые и непосредственные, нередко отражающие местные этнические черты. Они в высшей степени выразительны: то мрачные и гневные, то улыбающиеся и веселые, то задумчивые и скорбные. Смеющиеся лица добрых весельчаков вносят чуть дерзкую ноту языческой жизнерадостности. Группу маскаронов на фасадах старых тбилисских домов составляют изображения сказочно-фантастических существ — грифонов и др. Животные и звери — постоянные персонажи в образной системе маскаронов. В мотивах животного мира можно проследить древнюю символику выражения природных сил, связи человека и природы. Изображения животных и зверей почти всегда даны в сопровождении декоративного орнамента растительного характера, реже геометрического. Соединяясь с мотивами стилизованной листвы и плодов, маскароны как бы символизируют жизнь в проявлениях добра и зла. Эти изображения — настоящий bestiary, восходящий к древним традициям мирового искусства. Отправной точкой создания художественных образов в маскаронах являются не конкретные натуралистические наблюдения, а именно художественная традиция. Кстати, сравнение их со средневековыми bestiary (манускриптами, трактатами о зверях и их символических значениях) неслучайно, так как именно они служили источником позднефеодальной геральдики и эмблематики. Вот почему маскароны нередко изготовлялись по принципу геральдической симметрии (в картушах, в декоративном рамочном обрамлении).



Большое количество маскаронов представляет реалистиче-  
ское изображение голов львов, гепардов, собак, кошек, орлов  
и т. д., но помимо этого — очень много персонажей греко-  
римской мифологии: Дионис — бог виноградарства и виноде-  
лия, увенчанный венком из виноградной лозы и шишкой пи-  
нии (символом плодородия), Афина — богиня мудрости, по-  
кровительница наук и ремесел, представленная в шлеме, с  
копьем, щитом и эгидой, Медуза Горгона — со змеей в воло-  
сах, со страшным взглядом, Сатир, или Фавн, спутник бога  
Диониса — с чертами лица человека и звериными ушами,  
Флора — богиня весны в виде юной девушки в венке из цве-  
тов и другие.

Гротескный мир маскаронов пронизан карнавальным ду-  
хом. Но как не усмотреть в них символы-знаки покровителей  
дома, отпугивающих злых духов, символы бдящих и сильных  
стражей, мужества и доблести. Добрыми гениями дома и его  
обитателей, преграждающими вход недостойным, можно вос-  
принимать маскаронов-животных, маскаронов-зверей (вспомним  
древний семантический смысл их изображений): лев — идеал  
земной власти, сложный символ светлых и мрачных мотивов,  
орел — птица Зевса, бык и собака — символы человеческой  
души, волк связан с культом Аполлона, кабан — символ пло-  
дородия, овен — древний культурный символ, воплощающий  
идею добра и т. п.

Изображения представителей животного мира в виде ма-  
гического знака встречаются на предметах и памятниках ма-  
териальной культуры Грузии, а также в грузинской гераль-  
дике. И хотя к концу XVIII — первой половины XIX веков  
грузинская геральдика (в основе которой лежит тотемное мыш-  
ление) восприняла распространенные в Западной Европе ху-  
дожественные формы, истоки ее восходят к глубокой древности  
и прочно связаны с языческими религиозными представления-  
ми. Декоративно-символическое восприятие животных и зверей,  
характерное для иконографии тбилисских маскаронов, созда-  
ется и благодаря условному строю их изображения: вырази-  
тельно-линейный силуэт, орнаментальный узор, стилизация. На  
фасадах тбилисских домов маскароны помещены изолирован-  
но, человеческие лица и звериные морды — анфас. Гривы —  
стилизованные, волосы или шерсть обозначены спиралевид-  
ными завитками или декорированы в форме аканта. Иногда  
морды зверей имеют геометризованный абрис, что придает  
в изображение откровенно декоративный характер.

Из того огромного количества маскаронов, которые и се-



годня украшают старые тбилисские дома, можно выделить наиболее характерные и оригинальные. Так, например, на фасаде жилого дома по улице Атонели, 29 — в медальоне, орнаментированном акантовыми листьями и поддерживаемом с двух сторон львами в геральдической позе, помещена женская голова. На фасаде дома по проспекту Давида Строителя, 141 — в круглом медальоне с исходящими от него лепестками-лучами, что создает впечатление солярного знака, находится женская голова античного рисунка. Среди пышной листвы в стиле модерн на фасаде дома по улице Каргаретели, 3-а — в трехчетвертном повороте видим женскую голову. Это законченный скульптурный портрет с живым и выразительным лицом, вполне реалистический, с профессионально вылепленными чертами.

В треугольной форме фриза на фасаде дома по проспекту Давида Строителя, 5 — в орнамент из акантовых листьев и рогов изобилия включена голова мужчины (высокого рельефа), с лицом, скорее напоминающим театральную маску. В композицию фриза на фасаде дома по улице Кл. Цеткин, 116 вплетена гирлянда из дубовых листьев, в центре — голова льва с оскаленной пастью, а вкомпонованная в среду орнамента мужская голова в шапочке напоминает по стилистике скульптурные фрагменты на готических соборах. Интересен маскарон в виде женской античной головы с исходящими от нее стеблями лилий. Этот декор в стиле модерн характерен не только для архитектуры дома по проспекту Давида Строителя, 36, но и для многих тбилисских домов начала XX века. Для маскаронов, созданных в пору расцвета стиля модерн, характерны живые выразительные глаза (как на фаюмских портретах). Иногда зрачки глаз подцвечены или выполнены из круглых цветных камешков.

В иконографическом ряду тбилисских маскаронов часто встречаются изображения существ, символизирующих inferнальные силы. Попадаются и кентавры с искаженным от ярости лицом, но этот символ (по улице Крылова, 15) вечной изменчивости воспринимается как устойчивый знак, который мог поразить лишь воображение обывателя.

Маскароны тбилисских домов отливались на месте, как, например, в мастерской орнаментальных скульптур А. Новака, по привезенным в Грузию образцам-оригиналам или по рисункам специальных иллюстрированных альбомов. Наряду с профессиональными архитекторами, скульпторами и художни-



ками над созданием маскарон работали и ремесленники, лепщики, резчики по камню и дереву.

Чаще всего маскароны выполнялись из гипса, реже из камня, дерева и металла. В общем декоре фасадов домов, выкрашенных мягкими пастельными тонами, маскароны выделяются откровенно декоративным характером, заимствованным из художественных стилей разных эпох. Функциональной нагрузки не несут, магическая связь в них отдаленная. Можно лишь угадать напластования различных периодов исторического развития изобразительного искусства древних народов, стран, в том числе и Грузии.

Вместе с другими архитектурно-декоративными элементами маскароны придают домам парадный облик, определенную театрализованность, обогащают архитектуру фасадов.

Как и другие проявления художественного облика старого Тбилиси, их необходимо беречь и сохранять. Нам, современникам, они напоминают о минувшей жизни, быте и вкусовых пристрастиях жителей старого города. Это тоже его летопись, его история.





К сожалению, публикация этих воспоминаний оговдала: Ираклия Андроникашвили, человека, столь щедро наделенного различными талантами, чувством юмора, артистизмом, обаянием, увы, уже нет с нами!

Луарсаб ЯШВИЛИ

## НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Как будто совсем недавно отшумела юбилейная дата — замечательному писателю, ученому, критику, артисту Ираклию Андроникашвили исполнилось 80 лет. Смолоду и по сей день — я горячий поклонник его таланта и преисполнен восхищения перед незаурядностью его личности. Потому и возникло у меня желание рассказать о сложившихся между нами отношениях. В нашей стране и за рубежом Ираклия Андроникашвили знают как ученого-исследователя, литератора, публициста, критика и несравненного мастера слова; мне же в широком диапазоне его возможностей хочется выделить и огромные познания в области музыки, которыми обладает этот несравненный мастер слова, подлинный художник сцены и телевизионного экрана, человек неиссякаемой энергии и творческого потенциала, покорявший любую аудиторию истинным артистизмом. Ираклий Андроникашвили — поистине любимец своего народа. В кругу друзей — это воплощение приветливости, доброты, человеколюбия. Где бы ни оказывался Ираклий — среди писателей, литераторов, музыкантов, людей любых профессий, он со всеми мгновенно находит общий язык и вызывает живую ответную реакцию, полную симпатий, тепла и любви.

С Ираклием Андроникашвили я познакомился в 1933 году в Ленинграде на одном из концертов симфонического оркестра филармонии. В то время я был аспирантом Ленинградской консерватории и параллельно работал в вышеупомянутом оркестре. Оркестр возглавлял известный советский дирижер Алек-



сандр Гаук. Дирижировали этим оркестром и приезжавшие на гастроли такие замечательные мастера, как Фр. Штидр, Фрид, Ансерме, Коутс, Талих, Митрополус, Мелик-Пашаев, Микеладзе и другие. Ираклий — завсегда́тай симфонических концертов часто посещал выступления и этого оркестра. Когда мы познакомились, Ираклий не без удовольствия услышал от меня, что в Тбилисском государственном университете курс лекций по изучению права мне читал его отец, широко известный юрист и общественный деятель профессор Луарсаб Андроникашвили, а также и то, что меня зовут, как и его отца Луарсабом, и что мы с ним ровесники. Когда я остался без квартиры, Ираклий без колебаний пригласил меня жить у себя, и больше месяца я провел в его квартире. Мы спали у него в кабинете и, конечно же, до глубокой ночи беседовали на самые разные темы, чаще связанные с литературой и искусством. Ираклий не просто любил, а жил и дышал русской классической поэзией — в частности Пушкиным и Лермонтовым. В то же время с огромным вдохновением он говорил о Шота Руставели и его бессмертной поэме «Вепхисткаосани».

Он прекрасно знал современных грузинских писателей — А. Джавахишвили, К. Гамсахурдиа, критика Г. Кикодзе, поэтов Г. Табидзе, Т. Табидзе, Паоло Яшвили и других.

Но чаще всего мы говорили о музыке. Беседуя о творчестве того или иного композитора, Ираклий на высоком профессиональном уровне разбирал содержание произведения, его стиль, исполнительское толкование смысла произведения, говорил о технике, оценивал музыкальное исполнение и многое другое. И все свои взгляды он выстраивал на таких точно аргументированных основаниях, так убедительно обосновывал каждую свою мысль, что собеседнику спорить с ним не приходилось. И хотя в конце концов Ираклий полностью оказался во власти литературной деятельности, для меня он остался музыкантом.

В то время Ираклий был настолько увлечен музыкой, что брал консультации у известного музыковеда Соллертинского, чтобы в дальнейшем посвятить себя музыковедению, выступать на концертах симфонического оркестра с соответствующими комментариями, объяснениями, анализом исполняемых произведений, раскрывая их стиль и содержание в контексте той эпохи, в которую они созданы, будь то симфонии Бетховена, Малера, Брамса или Чайковского.

Так, благодаря консультациям Соллертинского и его руководству, Ираклий Андроникашвили вышел на сцену на од-



ном из концертов симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Несмотря на то, что выступление Ираклия проходит превосходно, и, что главное, дебютом доволен сам Соллертинский, — Ираклий все же остался неудовлетворенным. Об этом случае он необычайно интересно и с большим юмором рассказывает по телевидению или со сцены.

С 1935 года, после окончания аспирантуры в Ленинградской консерватории, я начал работать в Грузинской государственной консерватории. А Ираклий переехал на постоянное местожительство в Москву. Так мы с ним разъехались и потеряли друг друга.

В 1966 году я с моими дочерьми приехал в Москву: на 2 февраля в Большом зале имени Чайковского был назначен концерт трех сестер-скрипачек Яшвили в сопровождении симфонического оркестра под управлением дирижера Эмина Хачатуряна. Я пригласил на концерт Ираклия, и он с большим удовольствием принял мое приглашение и пришел на концерт.

В первом отделении моя младшая дочь Нана исполнила концерт Мендельсона, потом Ирина — концерт А. Мачавариани, а во втором отделении Маринэ сыграла симфонию Лалло. Затем они втроем исполнили тройной концерт Вивальди.

Их хорошо принимали, устроили овацию. Но лично для меня самой большой наградой был восторг Ираклия Андроникова, его искреннее восхищение. За кулисами Ираклий расцеловал каждую из моих дочерей и поздравил их с большим успехом. Потом он отозвал меня и торжественно произнес: «Луарсаб! Ты меня очень порадовал. Я не думаю, что еще где-нибудь в мире найдется родитель-педагог, который был бы способен на такое геройство — вырастить трех дочерей и возвести их на такую высокую ступень. Если бы ты воспигал только одну Маринэ Яшвили и сделал ее такой блестящей исполнительницей, уже было бы достаточно для нашей национальной музыкальной культуры, для нашей истории. А ты подарил нашей нации, нашей стране трех дочерей. Поздравляю тебя, мой дорогой друг, с такой великой победой и желаю дальнейших успехов!»

Потом мы с Ираклием вспомнили нашу молодость в Ленинграде и расстались, к сожалению, надолго, хотя и сегодня, видя его на экране телевизора, я с удовольствием вспоминаю обо всем том, о чем мне и захотелось рассказать.





## Кинжал с надписью „НИНА“

Собирая материалы о жизни и творчестве русской поэтессы Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой, участницы французского Сопротивления, легендарной матери Марии, погибшей в фашистском концлагере Равенсбрюк, я получил из Франции копию рукописи воспоминаний ее матери С. Б. Пиленко<sup>1</sup>, в которых наряду со сведениями, касающимися ее семьи, есть небольшой раздел, посвященный Н. А. Чавчавадзе-Грибоедовой, приходившейся ей дальней родственницей. Вот он:

«Через несколько лет<sup>2</sup> тетя вышла замуж за дальнего родственника Владимира Матвеевича Яфимовича<sup>3</sup>. Он в это время командовал батареей на Кавказе в местечке Гамборах<sup>4</sup>. Когда мне было лет 14, и тетя это мне рассказывала, то на всю жизнь я запомнила это название. Мне казалось, что это что-то особенно страшное и убийственное — «батарейная батарея». Тотчас после свадьбы тетя из блестящего дворца<sup>5</sup> и придворной жизни ехала в глушь. Ехали на лошадях, с прислугой, с собакой кинг-чарльзом и тетиним попугаем. Когда останавливались в деревнях, то народ собирался смотреть на говорящую птицу. Ехали долго. Тетя всю свою долгую жизнь очень любила своего мужа, и гамборская глушь ей не была страшна.

Вскоре дядю перевели в Тифлис<sup>6</sup>.

Тетя сейчас же подружилась с Ниной Александровной Грибоедовой и на всю жизнь потом сохранила память о ней. Грибоедов был родственник. Сестра прабабушки Прасковьи Семеновны была замужем за Грибоедовым<sup>7</sup>. Нина Александровна хранила память о своем убитом муже и до самой смерти была верна ему. У нее было много блестящих и интересных женихов, но она всем отказывала. Она выучила тетю танцевать лезгинку, и тетя потом с князем Дадзани вызывала фурор своей лезгинкой.

Когда моей дочери было 7 лет<sup>8</sup>, и она сказала бабушке<sup>9</sup>, что умеет плясать лезгинку, то тетя сказала:

— Пляши!

Тете было уже под 80 лет. Лиза кончила плясать, а тетя сказала:

— Какая гадость! Я сейчас вам покажу, как надо плясать лезгинку.

Мы с двоюродной сестрой, которая была с нами, пришли в ужас. 80-летняя старушка... Это даже опасно для нее. А тетя:



— Пойте лезгинку и хлопайте в ладоши. Только я должна башмаки снять, они велики.

И поплыла... Это была настоящая лезгинка, как танцуют ее на Кавказе. А она, кончив, даже не устала; села на стул и говорит:

— Вот это лезгинка!

Тетя хранила кинжал, подаренный ей на память Ниной Александровной. Он был маленький, на лезвии были золотые буквы: «Нина». Ручка была золотая, а ножны — красного бархата. Все это у меня пропало во время революции».

Как следует из последних строк, подарок Н. А. Чавчавадзе-Грибоедовой после смерти Е. А. Яфимович достался С. Б. Пиленко. Октябрьскую революцию и гражданскую войну она провела в Анапе. Кто знает, может быть, и отыщется еще где-нибудь на юге кинжал с именем «Нина» на лезвии?..

### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. София Борисовна Пиленко (урожденная Делоне: 1863—1962) по материнской линии происходила из старинного рода Дмитриевых-Мамоновых. В самом начале 1891 года вышла замуж за юриста Ю. Д. Пиленко. Она прожила долгую жизнь и скончалась в Париже в весьма преклонном возрасте.

2. В конце 1843 или начале 1844 года.

3. Яфимович В. М. (1809—1888). Сначала с 1833 года адъютант начальника артиллерии отдельного Кавказского корпуса, затем командир батареей № 1 батареи Кавказской гренадерской артиллерийской бригады. С 1842 года — полковник. С 1844-го командир 18-й артиллерийской бригады.

4. В урочище Гамборы (Гомбори) располагалась квартира батареей № 1 батареи.

5. Дворец Елены Павловны — бывший Михайловский дворец в Петербурге, где ныне размещается Русский музей.

6. В Тифлисе располагался штаб Кавказской артиллерийской дивизии. Пребывание Яфимовича здесь продолжалось менее полугода.

7. Анастасия Семеновна Нарышкина, двоюродная прабабка Софии Борисовны Пиленко, была замужем за А. Ф. Грибоедовым — родным дядей автора «Горя от ума».

8. В 1898—1899 годах.

9. Е. А. Яфимович была не просто двоюродной бабкой Лизы Пиленко (будущей поэтессы), но и ее приемницей, то есть крестной матерью. Лиза очень любила ее, звала «бабушкой» и с удовольствием гостила у нее в Петербурге.





Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

**Редакционная коллегия:**

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Роваз АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Анаида БЕСТАВАШВИЛИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА, Марк ЗЛАТКИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь), Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ (заместитель главного редактора), Серги ЧИЛАЯ,

Технический редактор И. Зурабашвили  
Корректор Т. Бадриашвили

---

Сдано в набор 16.05.90 г. Подписано к печати 19.07.90 г.  
УЭ 07599. Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская  
№ 1. Печать высокая. Печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд.  
л. 14,0. Тираж 7.300. Заказ 1164. Цена 65 коп.

---

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна

---

При обнаружении полиграфического брака просим обращаться в  
типографию Издательства ЦК КП Грузии, по вопросам подписки и  
доставки журнала — в «Союзпечать».

---

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5.

Телефоны: Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного  
редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, прием-  
ная — 99-06,59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

---

Ордена Трудового Красного Знамени типография Издательства  
ЦК КП Грузии, Тбилиси, ул. Ленина, 14.



65 კ.

*Handwritten signature*

ИНДЕКС 76117



*Handwritten number: 038/10*

ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და  
 საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი  
 „ლიტერატურნაია გრუზია“  
 (რუსულ ენაზე)  
 საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო  
 გამოდის 1957 წლის ივნისიდან



«Литературная Грузия», 1990, № 6, 1—224